

Ирма Кудрова

ЖИЗНЬ Марины Цветаевой



Документальное повествование

Ирина
Трубицына
в Москву
Сидней -
- от Эдмон
Трубицына в
Сидней. Искр.
Ирина, 10.10.1916.

Ирина
Э. Трубицына
Дон-Фе - Дон
Дон Рамис
201 Владельцы.

31-го августа 1916г.

Русские поэты

ЖИЗНЬ и СУДЬБА

Русские поэты

ЖИЗНЬ и СУДЬБА



Ирма Кудрова

**ЖИЗНЬ
Марины
Цветаевой**

до эмиграции

документальное повествование

Санкт-Петербург

2002

Издательство журнала «Звезда»

ББК 84. Р7
К 88

Редактор
И. С. Кузьмичев

Художник
В. А. Гусаков

На фронтисписе дана фотография
живописного портрета М. Цветаевой,
выполненного художницей Магдой Нахман. 1915 г.

ISBN 5-94214-003-0
ISBN 5-94214-014-6

© И. В. Кудрова, 2002
© В. А. Гусаков, худож. оформление, 2002

Глава 1

МАТЬ

«Ты дал мне детство лучше сказки...»

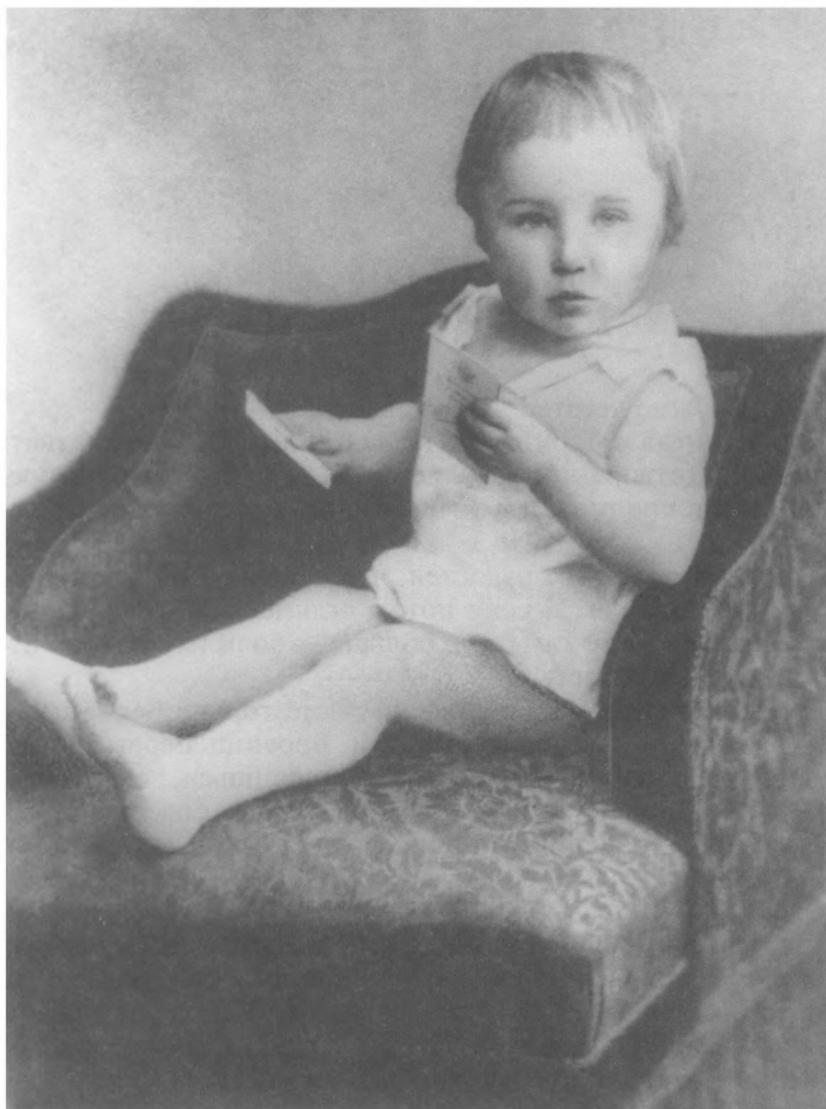
Так написала Марина Цветаева в день своего семнадцатилетия в стихотворении «Молитва». Почти что сказкой предстают ее детские годы и в воспоминаниях Анастасии Цветаевой, младшей сестры. Но в живой жизни сказок нет: горечь всегда так недалеко от радостей, что едва изумишься удаче, а уже на пороге беда. И если потом оглянешься — что вспомнится раньше? Чего там было больше — боли или радостей? А это уж как посмотреть.

Есть такие рисунки-тесты: на листе только белое и черное, и каждое — сплошным пятном. Бросишь первый взгляд: белый профиль прекрасной дамы! А взглядишься, сощуришь глаза, — да и вовсе не дама! — черным пятном совершенно отчетливо проступают очертания разрушенного замка...

Две сестрички растут-подрастают в Трехпрудном переулке старой Москвы — в одноэтажном, с мезонином, деревянном доме, окрашенном коричневой краской; обитатели дома называют его «шоколадным».

Тополь растет перед входом в зеленый двор. В углу двора виден колодец, возле него суетятся утки; дворник возится с голубями. А вон там горничная с экономкой — они вытащили из дома старые кованые сундуки, перетряхивают барские наряды, укладывают зимние вещи.

Из окон дома слышны звуки рояля; нудные гаммы разыгрываются явно детскими руками. Потом наступает недолгая тишина, вдруг прорываемая бурей шопеновского этюда. Ну,



Марина Цветаева в раннем детстве

это уж за роялем не дети: такая энергия звука, такая страсть в каждом аккорде!

Вскоре хлопает полосатая парадная дверь — и две девочки в легких пальтишках и матросских беретах выходят на прогулку, сопровождаемые бонной. Их маршрут привычен: по тихому переулку они направляются к Никитским воротам, потом поворачивают налево по Тверскому бульвару. Туда, где вдали черной застывшей фигурой виднеется памятник с вечно наклоненной головой. Иногда, правда, они поворачивают к Патриаршим прудам. Изредка их обгоняет пролетка, за чьим-то забором громко раскудахтались куры, запах борща и жареных пирожков вдруг пахнет из открывшейся двери трактира. Шарманщик на перекрестке крутит свою шарманку.

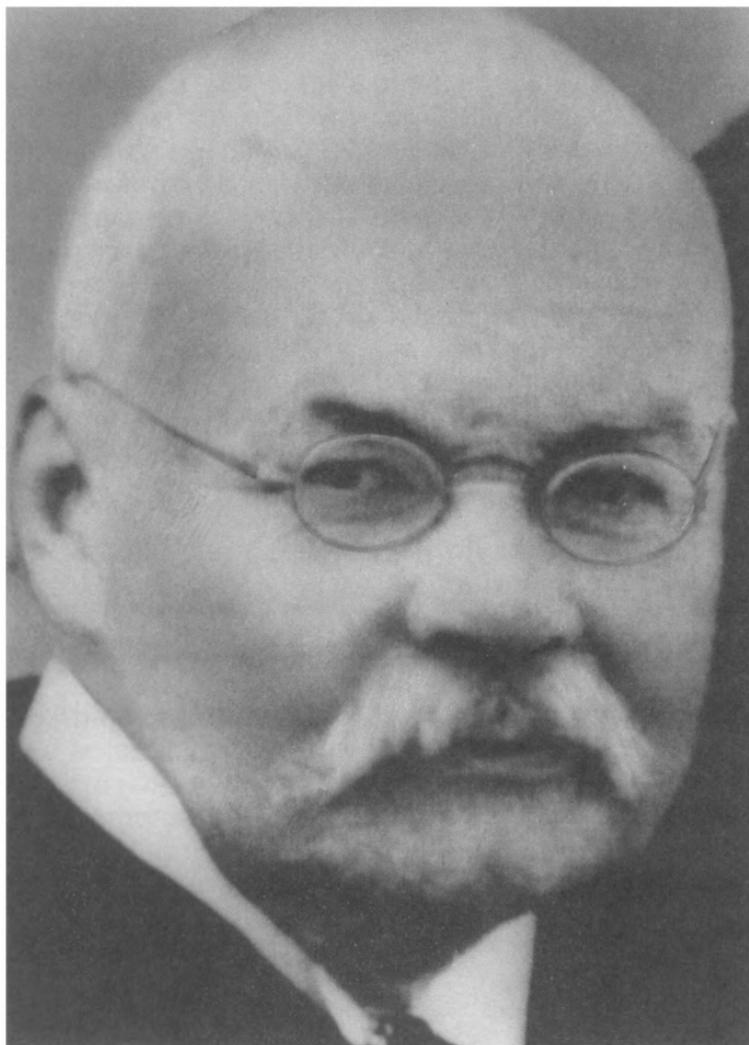
Но вот все звуки заглушает колокольный звон. Звонят сразу во всех церквях, справа и слева, они тут на каждом шагу.

Полдень в Москве. Весна. 1902 год.

Скоро Пасха. А значит, недалеко и до лета. Девочкам осталось немножко потерпеть — и в Тарусу! В рай ее просторов, зеленых холмов и спусков, серебрищейся под солнцем Оки, ночных побегов через окно, когда все заснут на даче, рай костров, разожженных на поляне, и страшных историй, рассказываемых при отблесках огня в плотно обступившем мраке. А лазанье по деревьям! Нарядные праздники у Добротворских... А сочные красные ягоды в лукошках, которые приносят загадочные молодухи-хлыстовки!

Да, впереди лето. Только никто в «шоколадном доме» еще не знает, что едва оно окончится — жизнь семьи сделает крутой поворот. Врачи обнаружат у жены профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева чахотку и предпишут ей немедленную перемену климата. И прощайте, Москва и Подмосковье! Уже на рождественских каникулах вместо саней и снежных баталий в Тарусе девочки увидят Италию...

Пока же старшей из девочек — домашние ее зовут то Мусей, то Марусей — еще нет десяти лет. Румяная большелобая толстушка не слишком улыбчива, и прислуга побаивается ее гневных вспышек. Может и башмаком запустить, и ногой оттолкнуть, не раздумывая. Семилетняя Ася обожает старшую сестру и старается подражать ей во всем.



Иван Владимирович Цветаев

Как всегда на прогулке, младшая болтает без умолку. Но старшая сегодня молчалива. В очередной раз ей досталось от матери — и обида острой болью захлестывает самолюбивое сердечко. Боль тем сильнее, что строгую, вспыльчивую и не слишком-то ласковую мать обе девочки боготворят. Боль и обида уже не впервые, но привыкнуть к ним Муся не может. Не сможет и забыть.

Об этих своих детских горестях спустя три десятка лет она расскажет в автобиографической прозе.

«Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

— Дети! Берите же!

Хочу безе и беру эклер. Смушенная яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети мой конь ретивый
Чрез моря и чрез луга
И потряхивая гривой
Отнеси меня туда!

— Куда — туда? — Смеются: мать (торжествуя: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра семнадцатилетняя институтка Валерия — в пику мачехе (моей матери). А я — я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы — сначала молчу, потом — ору:

— Туда — далёко! Туда — туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!»

В сказках у доброго отца часто злая жена, откуда и происходят все беды детей. Нет, тут было не так. Отец в этой семье был замечательный — мягкий, добродушный умница и неутомимый труженик, и мать — разносторонне талантливая поклонница благородных королей и героев. И вот ведь — смеются! О, какая ранящая сила у такого смеха! Как глубоко в сердце зеленоглазой Муси входит это лезвие пренебрежения. Куда гуманнее было бы выпороть дитя ремнем, по-старинке. Но ведь не за что. И старшие это, конечно, понимают. Понимают — но весело смеются над самой сокровенной тайной

застенчивой девочки. Милым, добрым, умным взрослым не приходит в голову, как непереносима ее боль: все чувства у этого ребенка с рождения болезненно обострены. Это беда, с которой всегда трудно жить, но в ней же и зерно, из которого прорастут в будущем ни с чем не сравнимые плоды.

Редкий родитель угадывает судьбу своих детей. Ни отцу, ни матери просто не приходит в голову, что вот этой неуклюжей румяной Мусе судьба уготовила будущее блистательного поэта...

Впрочем, не совсем так.

Девочке было всего четыре года, когда Мария Александровна записала в своем дневнике: «Старшая все ходит вокруг и бубнит рифмы. Может быть, моя Маруся будет поэтом?..»

Записала и забыла. И бумагу дочери давала только нотную, так что строчки и рифмы Муся царапает каракулями на случайно найденных бумажных клочках. А все дело в том, что сама Мария Александровна одержима музыкой. Незаурядная музыкантша, она мечтает вырастить из старшей дочери пианистку — и посадит ее за рояль «злотворно рано» — девочке еще не исполнилось тогда и пяти лет.

Оттуда и этот эпизод за завтраком: отучить от глупостей!

У Муси обнаружили незаурядные музыкальные способности — в отличие от ее младшей сестры Аси. Полный сильный удар и, как считают, «удивительно одушевленное туше». Мария Александровна этому радуется, но хвалить не спешит. В пять лет девочка почти берет октаву: надо только «чуточку дотянуться!» — говорит она дочери, — «голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: — Впрочем, у нее и ноги такие!»

И к этому Муся уже привыкла: после каждой вырвавшейся похвалы мать холодно прибавляет: «Впрочем, ты тут ни при чем. Слух — от Бога!» Она попрекает дочь и «Слепым музыкантом» Короленко, и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, которую было не оттащить от рояля. «Мать с меня требовала — себя!» — так объясняла это потом Цветаева.

Дважды в день Муся взбирается на мученический табурет перед роялем. Ее все жалеют, кроме матери: жалеет отец, гувернантка, нянька, даже дворник Антон, приносящий в залу дрова, чтобы топить кафельную печку. Девочка играет стара-

тельно — для матери. Для ее радости и из страха. И ведь не только зимой! И летом, когда жара, когда все на воле и идут купаться или гулять «на пеньки» или в Тарусу на почту...

Метроном с его вылезавшим стальным пальцем внушал ей страх своим неостановимым механическим шелканьем. Девочка его ненавидит и боится до сердцебиения. Он представляется ей гробом, в котором живет смерть.

Фантазии ее неисчислимы.

Рубчатая ножка табурета, на котором она сидит за роялем и на котором можно до одурения закрутиться, — точь-в-точь ошипанная индюшачья шея. Раскрытая клавиатура рояля вдруг предстает ей огромным ртом до ушей — с огромными зубами. Этот рояль — просто зубоскал, думает маленькая Марина, он-то и есть настоящий зубоскал, а вовсе не репетитор брата Андрея, хотя мать зовет его так за вечное хохотанье. По клавишам, не сдвигаясь с места, можно раскатиться, как по лестнице; белые при нажиме — всегда веселые, а черные — сразу грустные. В левой части клавиатуры живет гром, в правой — мелкие букашки. Ноты долго мешали ей свободно играть, но стали друзьями, как только однажды она вообразила их воробышками на ветках — каждый на своей, — и оттуда они прыгают на клавиши, каждый на свою. А когда Муся перестает играть, ноты возвращаются на ветки и там спят, как птицы, и, тоже как птицы, никогда не падают.

Слово «бемоль» кажется ей лиловым, прохладным и немножко граненым, а знак «бекар» пуст, как пустой дурак; скрипичный ключ она выводит на бумаге с чувством, будто сажает лебедя на телеграфные провода, а басовый, похожий на ухо с двумя проколотыми дырками, — презирает...

Многие годы она не сможет справиться с отвращением к собственной игре. Это не было отвращением к музыке, потому что под пальцами ее слишком долго рождалось что-то, что она музыкой назвать не могла. Музыка — это когда мать садилась за рояль. Слушать ее всегда было радостью. Но играть самой... В тысячу раз интереснее просто смотреться в черную крышку рояля; удостоверившись, что никто не видит, Муся дышит на нее, как на оконное стекло, и отпечатывает на матовой поверхности крышки свой нос и рот...

У нее множество запретных наслаждений. Так оно и бывает, когда слишком многое запрещено, а этот дом полон



В зале дома в Трехпрудном переулке

запретами. Украдкой она заучивает тексты романсов, которые любит петь старшая сводная сестра Валерия. Тонские тетрадки романсов (тексты в них всегда нежно-любовные) лежат совсем рядом с роялем, на нотной этажерке. Выученные строчки потом, забывшись, она иногда бубнит при матери.

— Что это ты опять говоришь? — грозно спрашивала Мария Александровна. — Повтори-ка, повтори! Что это за глупости — «в сердце радость и гроза»? Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот!

Но чтение не нот, а именно текстов, особенно поэтических, — настоящая страсть маленькой Муси, в четыре года уже справившейся с буквами. Разрешенные книжки ей скучны, зато есть другие, они манят одним тем, что детям их — нельзя.

И это запретное опять связано с сестрой Лёрой: в ее комнате, обитой красным штофом, стоит заветный шкаф. Запретный шкаф. И в нем большой сине-лиловый том с золотой надписью вкось — «Собрание сочинений А.С. Пушкина». Этого толстого Пушкина Муся читает, уткнувшись носом в книгу, почти в темноте, пугливо прислушиваясь, — не идет ли кто-нибудь. Читает сначала «Цыган», потом, позже, уже все подряд, включая «Онегина» и «Капитанскую дочку».

В ее взрослой памяти прочно угнездится уверенность в том, что главное, чем и заразил ее Пушкин, — была любовь. «Цыгане» про любовь, «Онегин», «Капитанская дочка» и стихотворение «Прощай, свободная стихия!» — всё о ней и про нее, как и в романсах Лёры. Любовь — было слово, ее заморозившее. «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так».

Так возникают страшные тайны маленькой Марины — тайны красной комнаты, синего тома, грудной ямки.

«Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюрнбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

— Что-о-о?

Я — спохватываясь:

— Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе:

— То-то же!»

Шести лет вместе с матерью Муся присутствует на рождественском вечере в музыкальной школе Зограф-Плаксиной.

«— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? — мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

— Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: — Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!»

Но на что же мать так сердилась?

Шестилетняя девочка говорила чистую правду. В этой сцене, где на скамейке в саду объяснялись Онегин с Татьяной, в этой обреченно и смиренно молчашей Татьяне она просто узнала, *угадала* тот самый жар в грудной ямке, который был ее собственной тайной.

В доме рассказывали, что двух лет от роду Муся уже была влюблена в черноглазого студента-репетитора Айналова. Но другие ее влюбленности, о которых уже она сама хорошо помнила, были много страннее: например, в куклу, выставленную в витрине большого магазина. Или в актрису из «Винд-

зорских проказниц». Или в пушистого кота, неожиданно при- блудившегося, несколько дней подряд гревшегося под лучами солнышка на подоконнике — и вдруг исчезнувшего навсегда. Жар в грудной клетке был один и тот же!

Воодушевившись «Онегиным», Муся написала первое свое любовное письмо — как Татьяна! Адресатом был гувернер брата. Преданная Ася согласилась быть посыльным. И вот — очередная тупая серьезность взрослых! — письмо возвратили автору с подчеркнутыми красным карандашом ошибками! Кто был глупее в этом диалоге?

Много лет спустя она попыталась восстановить в памяти — кого первого, самого первого в самом первом детстве и до-детстве любила. Увы, ей пришлось отказаться от намерения, увидев себя «в неучтимальном положении любившего отро- дясь и до-родясь...».

Она вспоминала себя четырехлетней неуклюжей девочкой, часами в молчании простаивавшей возле гимназиста Сережи Иловайского, когда он на даче заступом рыл лестницу в кру- том боку горы. Как было не влюбиться в Сережу! Единствен- ного, кто со вниманием и сердечностью относился к стихам этой девочки-неулыбы.

И почти такой же жар в грудной ямке — она это отлично помнила всю жизнь — сжигал ее и тогда, когда долговязая Августа Ивановна, бонна, грозилась уехать навсегда в Ригу. Или еще — когда убирали в сундук розово-газовых нафталин- ных кукол и Муся знала, что больше никогда их не увидит. А еще она запомнила боль, которая чуть не разорвала ей сердце, когда нянька вздумала безжалостно подшутить над ее тайной привязанностью к «Мышатому». Так девочка звала про себя странного большого кукольного дога, сидевшего на кровати в комнате Валерии. В один прекрасный день он вдруг исчез! То было страшное горе. И его еще надо было скрыть от тайно наблюдающих за Мусей не слишком добрых глаз.

Жгло в грудной ямке всякий раз нестерпимо.

Так она растет, окруженная своими тайнами, отъединен- ная ими ото всех других.

Пыхтя, шивает из нотной бумаги тетрадочку, чтобы за- писывать туда стихи. Делает кляксу — и, тяжело вздохнув, вырывает лист и трудится снова.



Мария Александровна Цветаева

Думает ли она о том, чтобы стать поэтом, выводя свои каракули?

Наверняка нет. Она просто упрямо пробивается к неясному свету вдаль; делает то, чего не делать не может. Зачарованная с младенческих лет волшебством поэтической речи, она пытается на языке этого волшебства записать нечто, после чего — она уже это знает — на душе становится легче.

Ты лети, мой конь ретивый...
Отнеси меня туда!

Очень довольные собой взрослые довели Мусю тогда до слез, но знать бы им, догадаться бы, допустить на минуту, что *тот самый конь* пройдет потом через все поэтические тетради Марины Цветаевой! Крылатый конь, летящий по-над башнями, по-над горами... — и в стихах, и в поэмах. «Отнеси меня туда!» Так ведь именно что — *туда!* Ей и потом трудно было точнее назвать адрес («Поверх закисей, поверх ржавостей... В завтра путь держу, В край без праотцов»).

То была сильнейшая тяга, на дословесном уровне тяга — туда, не знаю куда, преданность тому, не знаю кому, сродни той тяге, какую безотчетно ощущает младенец, тянувшийся к материнской груди.

Но постоянно держать все свои тайны внутри тяжело. И когда уж совсем невмочь, Муся взывает к младшей сестре:

«— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать».

К семи годам Марина пристрастилась к картам, быстро усвоила их гадальное значение и еще быстрее создала свою мифологию. Пиковый туз был любовь, а не удар, как все говорят, он же был черт, и, что самое главное, — *это был он*. И еще другой был *он* — пиковый валет. При этом страсть тайны всегда оказывалась для нее сильнее страсти любви. Никто не

должен был о ней даже догадываться! Станным образом Марине доставляет особенное удовольствие подставлять партнерам своего любимца: ну, берите же, берите, вытаскивайте! Не в том дело, чтобы он был у меня в руках, — совсем в другом! «Никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитростно и блистательно — сдавала». Так вспоминала позже Цветаева свои странные детские страсти.

В той насыщенной и нелегкой жизни были и сладкие часы, когда мать читала детям вслух книжки, ею самой выбранные. Часы эти назывались почему-то «курлык». Приткнувшись к матери, Ася, Муся и еще Андрюша — сводный брат, на два года старше Марины, — замирая от счастья, слушали материнский голос.

Правда, после чтения Мария Александровна почти всегда устраивает что-то вроде экзамена.

Цветаева вспоминала: вот в одной из сказок приходит некто в погребок или в пещеру, «а Зеленый уж там, сидит он и карты тасует».

— Кто такой Зеленый? — спрашивает мать. — Ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?

«— Охотник, — равнодушно сказал Андрюша.

— Гм... — и намеренно минуя меня, *уже и так же* рвущуюся с места, как слово с уст.

— Ну, а ты, Ася?

— Охотник, который ворует гусей, лисиц и зайцев, — быстро срежумировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами.

— Значит — *не* знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?

— Мама! — в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. — Я — знаю!

— Ну? — уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги.

— Зеленый, это — *der Teufel!*

— Ха-ха-ха! — захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не умещаюсь.

— Хи-хи-хи! — угодливо залилась за ним Ася.

— Нечего смеяться, она права, — сухо остановила мать. — Но почему же *der Teufel*, а не... И почему это всегда *ты* все знаешь, когда я *всем* читаю?!»

Мать торопилась, словно предчувствуя свою раннюю смерть, втолковать детям главное. И, торопясь, «с первой до последней минуты давала — даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом, уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость».

«Давала — даже давила»...

Если бы Бог дал Марии Александровне долгий век, она могла бы удостовериться: уроки ее не прошли даром. В воспитании любви дочерей к «невесомостям» она преуспела вполне. До конца дней своих Марина и Ася — каждая на свой лад! — прожили с ощущением этой живой опоры — под ногами? или над головой? в груди! — той опоры, какую воздвигли усилия их суровой и странной матери. Она сумела передать им собственное умение идти безоглядно —

По наважденьям своим — как по мосту,
С их невесомостью
В мире гирь!

Летом, в блаженной Тарусе, Муся оттаивает сердцем, когда приходят к Песочной даче молодухи-хлыстовки с лукошками, полными ягод. Своим маленьким обиженным сердечком она безошибочно чувствует, что странные эти Кирилловны (как их тут называют) выделяют ее среди других детей дома. *Они любят ее!* Когда не видит мать, одна из Кирилловн неторопливо сует в Мусин рот сочную землянику — ягоду за ягодой... «Откуда она знала, что мать не позволяет есть — так, до обеда, помногу сразу, вообще — жадничать? Оттуда же, откуда и мы, — мать нам словами никогда ничего не запрешала. Глазами — всё».

«А меня хлыстовки больше любят! — с этой мыслью (вспоминала Цветаева) я, обиженная, засыпала. — Асю больше любит мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте «больше любил» — всех), а меня зато — бабушка и хлыстовки!»

Однажды Кирилловны приглашают цветаевскую семью к себе на сенокос. И — «о, удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего — скопом, особенно же своих детей — на людях), о, полное потрясение, нас — взяли. Настоял, конечно, отец.

«— *Эту* будет тошнить, — возражала поверх моей заранее

виноватой головы мать, — непременно растрясет на лошадах и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она...

— Ну, стошнит... — кротко соглашается отец, — стошнит, и вся беда... (И, явно уже думая о другом:) стошнит — и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет — на свежем воздухе...

— При чем тут свежий воздух? — горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. — Что вагон — что воз — что лодка — что ландо, на рессорах и без рессор, на пароме, на ascenseur'e*, — всегда тошнит, везде тошнит, а еще *морской* назвали!

— Меня пешком не тошнит, — робко-запальчиво вставляю я, расхрабравшись от присутствия отца.

— Посадим лицом к лошадам, возьмем мятных лепешек, — уговаривает отец, — платье, наконец, на смену...»

Когда эта девочка вырастет, совсем вырастет, и ее имя внесут в литературную энциклопедию (за два года до гибели), ей предложат написать автобиографию. Она соглашается. Берет перо в руки. И — среди самых важных ее самохарактеристик: «Я у своей матери старшая дочь, но любимая — не я. Мною она гордится, вторую — любит. Ранняя обида на недостаточность любви».

С этой болью она прожила всю свою жизнь, — так глубока была рана. Тем более глубока, что с первых дней существования сама она любит мать самозабвенно, восхищенно.

И было чем восхищаться! Мария Александровна в избытке наделена талантами. Она незаурядная пианистка, не сделавшая артистической карьеры лишь потому, что этого не разрешил не в меру строгий отец. Она играет и на гитаре, прекрасно поет, пишет картины и немного стихи, знает несколько языков. И ревностно помогает мужу в его трудах по созданию в Москве нового музея. Труженица она не менее страстная, чем ее муж Иван Владимирович Цветаев — профессор Московского университета, вечно увлеченный каким-нибудь крайне важным для всех делом.

Страсть одного, умноженная на страсть другой... Как же было не появиться от этого союза поэту, страсти которого все будут называть чрезмерными!

* Лифте (фр.).

И все же одного таланта Марии Александровне не доставало: педагогического. В ее воспитательной системе явный крен в сторону суровой требовательности.

Спартанский уклад в доме, дисциплина, послушание, настоящий культ труда... Но чего совсем нет в обиходе — легкости, праздничности, радости! Мария Александровна неизменно строга, бескомпромиссна и вспыльчива. Дети не имеют в этом доме права на просьбу — никогда, ни на какую!

При первой жене Ивана Владимировича, красавице Варваре Дмитриевне, в Трехпрудном постоянно бывали гости, устраивались приемы, звенел смех. Теперь здесь чаще всего бывают деловые посетители, сразу проходящие в кабинет Ивана Владимировича. Ревнивая к памяти покойной своей предшественницы, Мария Александровна решительно переиначивает все прежде заведенные порядки, не щадя чувств подросшей падчерицы. Что ж удивляться: суровостью она только повторяет своего собственного отца!

Мягкий Иван Владимирович уговаривает супругу хоть изредка пойти вместе с ним навестить старика Иловайского, первого его тестя. В глазах Марии Александровны это пустая трата времени.

— Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! — пересиль себя, голубка, — нужно... — увещевает Иван Владимирович.

«— Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!

— Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо... — вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного».

В глазах Марии Александровны всякая игра презренна, только одна прекрасна: на рояле. Ибо там сливаются воедино труд и наслаждение — так, по крайней мере, для нее.

У детей этого не получилось.

Но музыкой дом звенит с утра до ночи! Старательно разучивает заданные пьесы Муся, бездарно тыкает пальцами в клавиши Ася, поет романсы Валерия, долгими часами бурно и страстно играет мать. От этого ежедневного звукового наводнения отца счастливо спасает полное отсутствие слуха, — он умудряется и при открытой в его кабинет двери не слышать ровным счетом ничего.



Ася и Марина с А. П. Доброхотовой. 1903

Позже, после смерти матери, девочки нашли ее дневники — целых девять тетрадей, написанных по-французски. И тут дочери впервые узнали о трагической истории ранней любви Марии Александровны. Счастливой взаимной любви, решительно оборванной ее отцом. Прочли девочки и строки, из которых поняли глубокую душевную драму матери: она чувствовала, что Иван Владимирович продолжал любить умершую первую жену и не умел этого скрыть. Мария Александровна ревновала и страдала.

С тех дней в сердцах сестер воцарился настоящий культ матери. Тогда-то и были написаны Маринины стихи о сказочном детстве, вошедшие в первую ее поэтическую книгу...

Проза взрослой Цветаевой с ее ранними стихами спорит. Восхищение матерью уже крепко сплетено там с другим чувством, горьким, от которого Марине так и не удалось до конца отрешиться.

В воспоминаниях, которые написала в старости Анастасия Цветаева, — неисчислимое множество имен, эпизодов, дат. С первых же строк книги очевидно, что давним своим прошлым автор захвачен, как наваждением, и почти задушен подробностями, которые с готовностью преподносит ему щедрая память. Жаль упустить что бы то ни было — все дорого, всякое воспоминание радость. Попробуйте подсчитать, сколько раз тут встретятся слова «счастье», «блаженство», «упоение», — собьетесь со счета. Все — счастье в далекой стране детства, ото всего — счастье. Счастье бежать по деревянной лестнице вниз, в залу, где стоит елка, счастье найти давно затерянный мяч, счастье ожидания, блаженство встречи, упоительный запах старых вещей в сених, радость весеннего неба... Разве тут дело в причинах?

Старшую сестру детское прошлое не завораживает. Воскрешая его в своей прозе 30-х годов, она, кажется, ни разу не поддалась искушению воссоздать сладкие мгновения легких детских радостей. Она вспоминала увлеченно — и все же не теряя руля, сама себя останавливая, если вдруг «заносило». Внешний мир выписан тут всегда немногими, круто положенными мазками, он явно интересен автору не сам по себе, а отраженным в детском сознании. Скрытые от посторонних глаз драмы и радости детской души, эта вселенная, поместив-

шаяся в груди ребенка, — вот что в фокусе внимания старшей Цветаевой. Жизнь в Трехпрудном видится уже как бы со стороны; сорокалетняя Марина занята, кажется, больше другого разглядыванием себя в той девочке, которая тайком читала «Цыган» в комнате Валерии, а в июльскую жару на тарусском балконе переписывала стихи в самодельную тетрадку. Что выросло из этого случая? А вот из этой почки? Из этой встречи? Отбирая частности из житейского калейдоскопа, она всякий раз стремится протянуть все, какие возможно, ниточки из прошлого в настоящий день...

В прозе «Дом у Старого Пимена». Цветаева неожиданно отмечает родственные черты, странным образом сближавшие ее мать с отцом первой жены Цветаева Иловайским. «Они чем-то отдаленно походили» — сказано здесь. «Моя мать больше годилась бы ему в дочери, чем его собственная». И тут же — характеристика педантичного труженика Иловайского в его отношениях с детьми: «Иловайского часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шейей, не гнушейся ни перед чем, ни под чем, кроме очередного... труда»; «очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов».

Но и в трехпрудном доме материнская власть была того же ряда.

В этом доме были картины, книги, музыка, мраморные бюсты богов, культ труженичества. Не было только простоты и сердечной близости между детьми и родителями. «Будь моя мать так же проста со мной, как другие матери с другими детьми...» — вздох Цветаевой в «Моем Пушкине». Это вздох сердечной отверженности, пережитой слишком рано. Вот почему словно два разных детства прошли в одно время, в одном доме, у одних родителей: одно — наполненное безусловным счастьем и другое — слишком сильно приправленное горечью...

Анастасия Цветаева настойчиво педалирует в воспоминаниях на внутреннем сходстве ее с Мариной. Общего в самом деле у них было немало — по преимуществу в сфере эмоциональной. Валерия Цветаева отмечала, впрочем, что Ася тоже с детства «обладала блестящей памятью, быстротой мысли и впоследствии обращавшим на себя внимание даром слова».

Но какое причудливое переплетение родственного с инородным — и в характере, и самом типе личности! Марина вспыльчива, Ася мягка; Марина замкнута, Асе всегда хочется разделить радость и горе с другими. Старшую раздражает быт, Ася его не замечает. С ранних лет для Марины мучение держать в руках что-либо, кроме пера; у младшей в руках все спорится: она умеет и выпиливать, и переплестать книги, прошить шов и уложить чемодан... Вот наступает праздник елки: младшая радостно прыгает вокруг рождественских сюрпризов; Марина сидит, уткнувшись в подаренную книгу, не видя и не слыша ничего вокруг. Разница возраста? Конечно. Но не только.

Любила мать старшую или мало любила — разговор пустой; в делах сердечных ни у кого нет права решительно утверждать такое. И Пушкина — в детстве толстого и неуклюжего — мать не слишком баловала любовью, весь жар сердца отдавая младшему брату будущего поэта. Банальная, кажется, ситуация: страдания старшего ребенка, обделенного нежностью, потому что появился на свет младший. Но вдруг это благо для будущего художника? Нет ли тут какой-нибудь жесткой закономерности? Дитя, с ранних лет изнеженное родительской любовью, выросшее в безоблачной атмосфере, — вырастает ли творцом? — Вопрос.

Но всю жизнь Марине будет не хватать любви и ласки; у совсем уже взрослой Цветаевой не раз вырвется странная просьба: чтобы ее просто *погладили по голове*... Что это, как не жест материнской нежности?!

Три года — с осени 1902-го до лета 1905-го — маленькая Марина с сестрой и матерью провела в Италии — сначала в местечке Нерви под Генуей, затем в Швейцарии, в Лозанне, во французском пансионе сестер Лаказ, затем в Германии — в Шварцвальде (Фрейбург, немецкий пансион сестер Бринк).

В Нерви десятилетняя Марина начала вести свой дневник. Это означало, что потребность пера — как разговора с собой и осознанного существования — уже определилась. Одна из гимназических подружек будет вспоминать потом, что Марина приносила ей на чтение не меньше пяти толстых кленчатых тетрадей и детские эти записи поразили читавшую странной зрелостью.

Среди новых знакомых матери неожиданно оказались веселые и обаятельные русские эмигранты-революционеры. Знакомство это имело последствия, о которых мы еще вспомним. Но уже там десятилетняя Марина написала революционные стихи, и они настолько понравились ее взрослым друзьям, что они тогда же сумели опубликовать их в каком-то эмигрантском издании!

Те же русские эмигранты поразили впечатлительных сестричек своими насмешками над религией. Но прошло совсем немного времени, и в католическом пансионе Лозанны эти насмешки были забыты. Там Марина уже стоит на коленях за полночь, молясь перед Мадонной, сама себе дает обеты, устанавливает строжайшие правила, так что ее письма в Нерви даже пугают мать: что они там — совсем в монашек превратились?..

Немецкий пансион во Фрейбурге после швейцарского оказался почти тюрьмой. Ни одно впечатление не проходит для Марины бесследно. Но главным событием ее внутренней жизни стало здесь переживание тяжелейшего известия, о котором она узнала из письма отца. Она расскажет об этом позже в «Доме у Старого Пимена». Сестры узнают о том, что в России чахотка унесла юные жизни Нади и Сережи Иловайских. Сестры любили их с необычайной нежностью. Силу потрясения, пережитого тогда Мариной, невозможно было бы вообразить, если бы она сама потом его не описала. Страстное желание овладело ею тогда: увидеть Надю! Увидеть хотя бы раз! В последний раз! Как и ее мать, девочка свято верила, что умершие «являются» иногда тем, кто их зовет и любит. И вот задыхающаяся от горя Маруся разыскивает Надю во всех закоулках пансиона, тщетно ждет в темной музыкальной комнате, видит во сне; наконец начинает мечтать о собственной смерти — ради встречи в ином мире. «Умереть, чтобы увидеть Надю!» — так это называлось... Экзальтация? Так и скажут, конечно, современные рационалисты. Но и Рильке признавался в сходных переживаниях...

В Россию семья возвращается только в 1905 году; врачи советуют Марии Александровне не ехать сразу на север — сначала пожить в Крыму. И вот в Ялте, где мать с дочерьми

проводит несколько месяцев, еще одно потрясение настигает Марину — расстрел мятежного лейтенанта Шмидта.

Она и теперь сочувствует революционерам, потихоньку от матери бегает по революционным сходкам ялтинской молодежи. Что знала она о лейтенанте, кроме того, что он — герой? Почти ничего. Но этого достаточно! Культ героя пройдет через всю ее жизнь.

В горе Марина замолкает, окаменевает и много дней подряд избегает решительно всех.

Мария Александровна умерла в 1906 году, едва доехав до любимой Тарусы.

Глава 2

ПОНТИК

В ближайшие месяцы после смерти матери своенравие четырнадцатилетней Марины выходит из берегов. С энергией и упорством она начинает выстраивать собственную жизнь без оглядки на чьи бы то ни было авторитеты.словно пар из-под плотно закрытой крышки, вырывается вдруг фонтан подавленной воли; он выплескивается буйным потоком, с водоворотами и мусором молодого эгоизма, вольного и своенравного «я так хочу!». Мать справлялась с такими порывами простым поднятием брови, — теперь Марине никто не указ.

Бедный Иван Владимирович! Здоровье его пошатнулось за последние годы, а после смерти Марии Александровны он слег и долго болел. Он и раньше не вмешивался в воспитание детей, целиком передоверив это жене, — теперь, убитый горем, он совершенно беспомощен перед своеволием своих младших. Между тем авторитет отца низвергается в первую очередь — он ближе всего!

С ним заодно ниспровергнут и авторитет домашнего уклада. В дом взята немка-экономка Эмилия Карловна; она старательна и хозяйственна, порядок налажен, но девочкам нелегко привыкнуть к переменам, которые появились, и они бунтуют. На помощь отец призывает из Ялты знакомую учительницу Бахтурову, «Мартысю», о которой еще недавно сестры вспоминали с восторгом и тоской. Но когда та приезжает, выясняется, что прежняя близость куда-то исчезла. Контакт пропал, и бедная горбунья спустя несколько месяцев вынуждена уехать восвояси.

В ближайшие четыре года Марина сменяет три гимназии. В каждой она держится особняком, не сливаясь с классом.

Соклассницы запомнили ее независимой, резкой, эксцентричной, насмешливой. Но близкие подруги — они все же появлялись — отметят совсем иные черты: незащищенность, ласковость, доверчивость. Марина вся состоит из таких крайностей: безудержность бурного оживления и нелюдимая закаменелость; то резкость — то нежность...

На уроках ее можно и не заметить: сидит себе тихо на последней парте, читает или что-то пишет. Другое — на перемене. Тут иногда она ошеломляет гимназисток: вдруг появляется около какой-нибудь группки беседующих и приводит всех в замешательство странным вопросом, неожиданной репликой или цитатой.

Реакции ее непредсказуемы, но сама их внезапность органична. Много лет спустя Цветаева признается, что мать Волошина, например, мила ей более всего тем, что по-немецки зовется Einfall im Kopf и что сама Марина переводит как своенравную игру жизненных сил. Но это и ее собственное врожденное свойство! Другим оно кажется диким и нарочитым, на самом деле это — природа...

Коса, с которой она приехала из Италии, отрезана, теперь у Марины мальчишеская стрижка с челкой. Жесты тоже мальчишеские, странно угловатые. Но походка легкая, неслышная, летящая. И прелестный жемчужно-розовый цвет лица.

Свободу и независимость от принятых правил и мнений она проявляет когда и как вздумается. В седьмом классе однажды она появилась с волосами, выкрашенными в соломенный цвет, и с голубой ленточкой в прическе. Соученицы поначитаннее решили, что это в честь «Золота в лазури» — только что вышедшего сборника стихов Андрея Белого. Пройдет еще время, и Марина сделает шаг еще более решительный: обреет голову и наденет черный чепец.

Она никогда не интересуется тем, «что задано», но с гимназической программой, в общем, справляется. Правда, ей ненавистны точные науки, сложны ее отношения с математикой и физикой, а химия интересна лишь постольку, поскольку в опытах смеси получают иногда красивый цвет.

Классные дамы избегают делать ей замечания, а учителя не слишком часто вызывают отвечать урок. Это мудро: спокойнее игнорировать ученицу, способную ответить дерзостью.



Дача Песочная в Тарусе. Лето 1902 года. И. В. Цветаев,
Валерия, Андрей, Ася, Марина, М. А. Цветаева

Но когда однажды учитель истории задает ей какой-то конкретный вопрос о французской революции, Марина встает и отвечает — пространно и без запинки, с постепенно возрастающим увлечением, совсем не по учебнику и не так, как излагал тему на уроках сам учитель. Она рассказывает подробно и конкретно — имена, события, эпизоды... В полной тишине ее заворожено слушает весь класс, а вместе с ним историк-учитель. И только звонок на перемену оборвет блестящий монолог.

Уроки она часто пропускает. Выходит из дому в положенное время — и, тихонько вернувшись, пробирается на чердак. Там холодно, неуютно, но Марина читает взятую из дому книгу и терпеливо ждет, когда уйдет на службу отец. Потом возвращается в свою комнатку и всласть отдается любимым занятиям — пишет или читает.

Читает она запойно.

Книги в материнском шкафу и в шкафу старшей сестры давно прочитаны. Теперь она увлечена новинками литературы, русскими и иностранными, особенно поэзией. Гимназистки с ней часто советуются — что читать, — и Марина охотно дает рекомендации, а то и приносит книги из дома. Одной она советует прочесть Сельму Лагерлеф, другой свежие сборники «Знания» и свой любимый роман Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов», кому-то — стихи революционного поэта Евгения Тарасова.

Из гимназии в гимназию за ней тянется шлейф репутации дерзкой и вольномыслящей ученицы. Однажды кто-то подслушал громкие голоса, доносившиеся из кабинета директора, — в очередной раз туда была вызвана Цветаева. Слышно было, как в ответ на выговор она громко и дерзко отвечала:

— Не пытайтесь меня уговорить! Горбатого могила исправит! Хотите исключить — исключайте! Пойду в другую гимназию — ничего не потеряю. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно — новые лица...

Весной 1909 года класс выезжает на пасхальные каникулы в Крым. И тут подруги вдруг замечают в Марине новые черты. Оказывается, у нее прорва энергии и совершенно спартанские привычки. Никакой изнеженности! Она мало спит и мало ест, не боится холода, никогда не кутается, любит ветер и быструю ходьбу. При переездах она всегда садится на коз-

лы, рядом с возницей, и превосходно выглядит там — в легкой одежде, с развевающимися волосами, с бусами из ракушек на шее.

Она сама выбирает себе подруг. На перемене внезапно подойдет к прогуливающимся по зале, возьмет под руку гимназистку, которая ее заинтересовала, и предложит: «Походим вместе!» А то и прямее: «Давайте дружить!» Обычно она выбирает кого-нибудь из старших классов: из-за пропущенных за границей двух лет соклассницы Марины младше ее, с ними ей неинтересно.

Она настойчиво отыскивает тех, кто не похож на других. И легко обманывается, избирая объект восхищения: она слишком доверчива к первому впечатлению, слишком легко предполагает в человеке прекрасные качества! Выбирает по случайной обмолвке, по выражению глаз, но больше всего — по любви к стихам. Страсть к поэзии всю жизнь будет играть в ее глазах роль лакмусовой бумажки: не может быть, чтобы человек, носящий эту страсть в себе, не был прекрасен!

Однажды на перемене Марина раздумчиво начинает:

— Был тихий вечер, вечер бала...

— Был тихий вальс... — неожиданно подхватывает чей-то голос рядом.

— Радугина! — радостно восклицает Марина. — Вы знаете стихи Виктора Гофмана? Как хорошо!

Такой диалог — это уже начало дружбы. Очаровываясь и разочаровываясь, Марина жадно ищет родную душу, и нетерпеливая надежда у нее неизменно опережает трезвую оценку. Младшая сестра привычно подтрунивает над очередными восторгами старшей:

— Давай на пари — разочаруешься! Месяца не пройдет!

И раз за разом Ася пари выигрывает.

Но светловолосая Валя Генерозова с лучистыми серыми глазами надолго удержала привязанность Марины. Она действительно отличалась от других: любила уединяться на переменах, хорошо пела романсы и знала наизусть множество стихов. Валя была пансионеркой — в будние дни жила в гимназическом интернате, бывая дома лишь по субботам и воскресеньям. Не из-за нее ли и Марина решила перейти в интернат? В дортуаре, когда все засыпали, они тихонько беседовали до зари. Это именно Валя завоевала такое доверие

подруги, что Марина стала приносить ей из дому свои дневники. Те самые, что были начаты еще в Нерви.

Однако родные Вали не позволили девочкам сблизиться домами: помешала бунтарская репутация Марины.

Еще одна гимназическая подруга Марины Соня Юркевич признавалась много лет спустя, что она была заворожена очарованием этой странной ученицы. И пришла однажды в ее дом в Трехпрудном переулке из любопытства — ей захотелось посмотреть на «гнездо этой необычной и яркой птицы».

Соню изумил дом Цветаевых. Вернее, царящая в нем атмосфера. В ее собственной семье не было ничего похожего!

Тут все было странно разобщено — взрослые и дети. Для обитателей не существовало, кажется, никаких общих правил; потаенность и даже некая вражда висели в воздухе; никакой легкости в отношениях друг с другом! Особенно изумило Соню пренебрежение, с каким сестры Цветаевы относились к отцу. Они позволяли себе ехидничать относительно его политических пристрастий — прямо за обедом, и при госте! Марина задавала тон, младшая, Ася, во всем ей подражала, наперегонки своевольничая и дерзя.

Это не помешало, впрочем, Соне привести Марину в свой родительский дом, так отличавшийся от цветаевского.

То был дом известного в Москве географа и педагога И. В. Юркевича, славившийся гостеприимством. Соня знакомит Марину со своими старшими братьями Владимиром, Сергеем и Петром. Красивые доброжелательные студенты, они очень любят гостей, с удовольствием готовы обсуждать все подряд и не менее охотно — веселиться.

Марина попросту зачарована.

Ближайшем летом Соня предложила подруге приехать к ним на несколько дней в Орловку — родовое имение в Тульской губернии. Марина радостно соглашается.

Эти несколько дней в Орловке она потом долго будет вспоминать. И молодежь, и старшие, вместе и порознь, спорили, музицировали, слушали граммофон, читали книги. А еще она ездила вдвоем с Петром верхом на лошадях! Обычно застенчивая среди незнакомых людей, Марина сама удивлялась той легкости, с которой она окунулась в эту атмосферу доброты, веселого доброжелательства и непринужденного общения.

Вернувшись в Тарусу, на свою Песочную дачу, она загру-

стила. Слишком ощутимой после Орловки показалась ей здесь разреженность воздуха! Конечно, тут были свои радости, но...

Ей предстояли осенние экзамены из-за очередной смены гимназии; Марина готовилась перейти в гимназию Брюхоненко. И потому в августе она уже должна сидеть на своем балкончике в Песочной и с отвращением зубрить алгебру и химию. Правда, вид с ее балкончика замечательный — сквозь березовые листья внизу видна широкая Ока, поблескивающая под солнцем.

После полудня Марина гуляет среди полей поспевающей ржи. Но чем прекраснее мир вокруг, тем острее она ощущает горечь в собственном сердце. Даже прелесть тарусских холмов, долин и перелесков не способна утешить ее надолго, хотя здесь ей каждое облачко в праздник и влюблена она буквально в каждый поворот дороги. У нее настоящий дар: наслаждаться красками заката, холодным светом луны, просторными далями...

Она рада, что может теперь рассказать об этом своему старшему умному другу. Перед отъездом из Орловки они договорились с Петром Юркевичем о переписке.

— О чем же мне писать вам? — спросил Петр, прощаясь.

— Обо всем, что придет в голову! — уверенно отвечала Марина.

И в тридцать, и в сорок лет она будет повторять то же самое: писать письма друзьям надо не обдумывая и не выстраивая их — как получится и о чем в тот момент захочется. Только то и дорого, что «срывается» с языка! Она доверяет спонтанным чувствам, будто уже начиталась современных философов; похоже, что — как говорила в свое время мать Марины — это «витало в воздухе». В письмах, как потом и в стихах, она буквально «ловит на перо» едва родившееся движение чувства и мысли — еще не устоявшихся, не оформившихся — таким она особенно верит, они неподдельны. Потому-то ее письма и не идут ни в какое сравнение с гладкими письмами большинства ее корреспондентов, — разве что еще Пастернак пишет такие же безоглядные письма. Соединенные с редкостной искренностью, почти со страстью к душевному самообнажению, письма Марины — верный проводник к глубинным истокам ее чувств и поступков. Впрочем, время от времени она пытается взнудать собственную откровен-

ность, догадываясь, что собеседник может оказаться к ней неготовым. «Написала я Вам, кажется, много лишнего, — замечает она в одном из писем этого лета, — но горе мое в том, что я всегда пересолю — не умею остановиться вовремя»... Она знает это за собой, но не собирается переламывать Богом данную ей природу.

Все чувства Марины прирожденно гиперболычны.

Не составляет исключения и чувство мучительного одиночества, в котором она признавалась своим гимназическим подругам. Благодаря письмам к Петру Юркевичу мы знаем об этом прямо с ее собственных слов. «Это мучение и страдание ежеминутное и ежечасное», — признается она Петру. Только когда она читает хорошую книгу, пишет стихи, письмо или беседует с дорогим ей человеком, это страдание отступает. Потому и нужен ей постоянный друг и собеседник! Он избавляет ее от душевной боли, которая кажется ей временами несколько не легче физической. Она признается, что временами боится боли настолько, что готова пить вино, бежать куда угодно или броситься на грудь первому встречному.

«Бродила я меж желтой рожью, — пишет она своему новому другу, — садилось солнце — и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль — все это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди так одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые, самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга...» «Небо совсем померкло, а при свете луны поля сделались какие-то странные, грезящие, холодные. Вся оторванность человека от природы вдруг ярко стала мне понятна. И вышло так: люди чужие, природа — чужая, далекая...»

Острейшая хандра длится у нее иногда несколько дней подряд, не отпуская. Переживание заброшенности, потерянности, оставленности... Даже в любимой Тарусе. Рай вокруг — и чуть ли не ад внутри!

Что ж, нет человека в мире, который бы не испытывал такое временами, и только хлопоты ежедневности привычно заглушают нашу тревогу... Но эта девочка не просто хандрит. Она вперяется, не отводя взгляда, в те самые вопросы, которые философы давно называли «проклятыми». Зачем жить, ради чего жить? Где, в чем цель? К чему это ежедневное бессмыс-

ленное прокручивание суеты? «Унизительно жить, не зная зачем», — пишет она своему другу.

Она называет его в письмах Понтиком. Как она поясняет — «несостоявшимся пойнтером». Ассоциация понятна, видимо, только ей одной, но ей необходима шутка и даже легкая ирония, — они прикрывают ее застенчивость; не так легко говорить о сокровенном с человеком, которого и знаешь-то без года неделю!

В комнатной, бессобытийной рутине призрак бессмыслицы разрастается. А может быть, думает она, выход в той мечте, о которой она впервые услышала в Нерви? Бацилла революционной романтики не исчезла в ней бесследно, не стерлась годами разлуки с теми необыкновенными людьми. Мечта о революции все это время грела ее сердце!

Но в России буря уже утихла. В Москве осенью 1908 года Марина видела вокруг усталых, разочарованных людей, давно растративших революционный порох. Однажды ей попадает в руки «Дух времени» Вербицкой — книга, в которой описаны знаменитые похороны революционера Николая Баумана в октябре 1905 года в Москве. Она жадно глотает страницу за страницей, потом отбрасывает книгу. И садится за письмо к Понтику.

«Мысль, что все это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя, — пишет она.— Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без «теплого уголка»!.. Но как примириться с мыслью, что революции не будет?..» «Если бы началось, стала бы я хандрить! От одной мысли крылья вырастают!..»

Революция в ее глазах — это противоположность бессмыслице буден. Где еще можно найти героическое и высокое: благородный подвиг, горение сердца? Только революционное «во имя» не дает душе покрыться плесенью, скукожиться, отмереть... И в одном из писем она напишет нечто совсем чудовищное (если забыть на мгновение о ее возрасте): «Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями?.. Вот передо мной какие-то статуи... Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!.. Только бы началось...»

(Начнется, Марина, начнется! И десяти лет не пройдет —



Петр Юркевич

начнется. Правда, то, что начнется, она уже не захочет называть революцией...)

Но пока она спорит с Петром о целях революции, целях борьбы и жертв. И тут они категорически расходятся во мнениях. Борьба за «счастье других»? Марина протестует. Революция отнюдь не средство наполнения голодных желудков, — и марксисты тут совсем ни при чем. «Умереть за... русскую конституцию? Ха-ха-ха! На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня!» Не за народ пошла бы она на революционный подвиг, не за большинство, которое «тупо, глупо и всегда неправо». Скорее уж за меньшинство, которое всегда гонимо большинством! Вот ее мечта: «Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета — куда и зачем, влечь за собой толпу...» Идти против... «Против чего? — спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма... против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!»

Но что же, кроме *против*, в этой мечтательной русоволодой головке? Как видится ей какое-нибудь *за*? Есть, есть и *за* в тех же ее письмах Понтику! Вот такое: «Вдруг исчезла бы Москва — с синематографами, конками, гостиницами, экипажами, четвергами, субботаами, всей этой суетней и вместо нее — Кавказ, монастырь, где томилась Тамара, скалы, орлиные гнезда, аулы, вершины Казбека и Эльбруса... Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадетах и эсдеках, холере и синематографах...»

То есть при всех ее «революционных» страстях лучше-то всего там — в вышине, где орлиные скалы!

Что ж, именно так много лет спустя она назовет свой цикл стихов, посвященных Волошину: «Ici—haut» — «Там, в вышине»...

Необыкновенно рано она знает о себе главные вещи. Ей едва исполнилось шестнадцать, когда были написаны эти строки.

Петр Юркевич старше Марины на три года. Он темноволос и курчав, не только хорош собой, но еще умен и способен к искренности. Они продолжают видеться осенью и зимой в Москве. И вскоре Марина убеждает себя: она влюблена!

Удостоверившись, не долго думая, доверяя порыву, она внезапно признается в этом Понтику в один из его приходов в трехпрудный дом.

Что и как именно тогда было сказано, что произошло — неизвестно, очевидно только, что при желании все можно было перевести в легкую шутку.

«Милый, славный Понтик! — пишет Марина уже на следующий день после инцидента. — Не сердитесь, все равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия которого я не знаю, — если вышло поребячески и глупо — изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я *должна* обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются. Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола. В такие вечера я никак не могу найти себе места. <...> Любовь, дружба ли — не все ли равно? Дело не в названии. Господи, Понтик, как много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов. Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв... Ну, друзья, что ли? Ваша МЦ».

Со стороны Юркевича сохранилось лишь одно письмо, — и это как раз ответ на только что приведенное.

Понтик явно растерян. Он отвечает совсем как Онегин на письмо Татьяны, — преисполненный уважения и даже нежности, но... В письме его замечательнее всего характеристика пятнадцатилетней Марины:

«Марина, Вы с вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову... Что я вам отвечу? Что я вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти месяцы, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю... Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую славную девушку, словесный и письменный обмен с которой так возвышает мне душу, дает пищу уму и чувству...»

И так далее, и так далее. И в конце: «Любящий Вас, пре-

клоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле. — Ваш П.Ю.»

Через восемь лет Понтик захочет воскресить прежнюю дружбу, но из этого уже ничего не получится.

Кораблик уплыл по воле волн...

Последнее письмо, которое он получит тогда же от Марины, — свободное, легкое. Там тоже о любви, — но это уже прощание, нечто вроде: «но я другому отдана...»

Петр Юркевич станет медиком и достигнет многого в своей профессии. Проживет долго и доживет до оглушительной славы Марины Цветаевой в 60-е годы.

Письма давней подруги он тщательно сохранит.

Глава 3

БОНАПАРТИЗМ

В августе 1908 года Марине исполнилось шестнадцать. Спустя еще шестнадцать лет, отвечая на анкету русской эмигрантской газеты «Дни», она отметила в графе «постепенность душевных событий» резкую смену своих увлечений и пристрастий как раз в 1908 году: «...разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар, «Орленок», взрыв бонапартизма...»

«Разрыв с идейностью» означал конец ее революционных иллюзий. Юная Цветаева, норовистая и независимая с окружающими ее людьми, в отношении к духовной атмосфере времени обнаруживала чуткость тончайшего барометра. Как раз к осени 1908 года революционные настроения в России исчерпали себя.

И итоги и уроки революции 1905 года уже поддавались анализу и обзору.

Они прорисовали кризисное состояние русской общественной жизни. В журналистике и литературе все большее место стали занимать темы и герои, которых не знали прежде русские читатели. Рахметовым и Инсаровым противостояли ныне личности, чувствующие себя абсолютно свободными от долга перед обществом. Они уже не верили в возможность переустройства социальной жизни на началах справедливости. Мрачный вывод дался многим ценой не просто утраты дорогих иллюзий, но ценой отчаяния.

«Переоценка ценностей» — лозунг, провозглашенный Фридрихом Ницше еще в прошлом веке, оказался на повестке дня. Он выглядел теперь подкрепленным итогами революционных потрясений, споры утратили прежнюю умозрительность. Портрет Ницше висит на стене в помещении симво-

листского издательства «Скорпион». Другое издательство называется «Заратустра» — как бы напоминание о знаменитой работе философа. Андрей Белый читает о Ницше публичные лекции... Автор трактата «По ту сторону добра и зла» необычайно популярен в эти годы: для России он выступает символом «раскрепощения личности», уставшей от служения гражданскому долгу.

Но что есть истинная свобода личности? Где кончается бунт против мещанских норм жизни и начинается отрицание нравственного чувства вообще?

Внимание литераторов привлечено теперь к изнанке человеческой природы, к психологии измены, предательства, отступничества — и в социальном, и в сугубо личном поведении человека. И тут сколько авторов, сколько героев — столько и решений; русские «доморощенные нищиеанцы» (так их называет критика) порой слишком похожи на потерянных людей, судорожно ищущих новые духовные основания для жизни.

Впервые в русском обществе открыто, публично, горячо и бесстыдно обсуждаются «проблемы пола». Раскрепощение женщины упорно толкуется как защита ее права на «свободную любовь». Повесть Арцыбашева «Санин», впервые увидевшая свет в 1907 году, еще и в 1908-м, и в 1909-м продолжала вызывать открытые дискуссии, собиравшие толпы слушателей и участников.

Прочитав эту повесть, бедный Иван Владимирович пришел в смятение и ужас — ему казалось, что своевольная, бунтующая по любому поводу Марина может наделать глупостей и вступить, например, в гражданский брак с каким-нибудь гимназистом. Неуклюже, намеками он пытался поговорить об этом с дочерью — и всякий раз предельно раздражал Марину. «Санинщину» она всей душой презирала; эта зараза просто не могла к ней прилипнуть.

Между тем в стране еще продолжались послереволюционные репрессии. Лев Толстой писал в Ясной Поляне «Не могу молчать!», Короленко на страницах «Русского богатства» публиковал гневные статьи. «Рассказ о семи повешенных» и «Иуда Искариот» Леонида Андреева вызвали настоящую бурю откликов в печати — так горячи были темы.

В недрах русской интеллигенции вызревала философия «Вех»: ставший впоследствии знаменитым сборник объеди-

нит статьи виднейших русских мыслителей и выйдет из печати ранней весной 1909 года. В критике он вызовет бурный взрыв негодования, но — знаменательно! — в ближайшие же месяцы издание придется повторить несколько раз, так быстро оно раскупалось. Даже спорившие сходились между собой в том, что в сборнике много нужной, хотя и горькой правды, умных и ценных мыслей, сказанных вовремя и с благородным мужеством.

«Вехи можно бранить и нужно бранить, но необходимо прочесть», — писали газеты, и на этом сходились почти все. Идеи, до тех пор разрозненно звучавшие в столичных гостиных, получили в статьях сборника смелую и талантливую разработку. Главный пафос состоял в развенчании «доктринерства, направленства, нетерпимости» русской интеллигенции, упорно провозглашавшей во второй половине XIX века приоритет общества перед личностью.

Позже Марина дружески сблизилась с виднейшими авторами «Вех» — Николаем Бердяевым и Михаилом Гершензоном.

Но что это за «взрыв бонапартизма», о котором вспомнила Цветаева, отвечая на вопрос анкеты?

Все началось с того, что прошедшей весной она впервые прочла по-французски пьесу Эдмона Ростана «Орленок» — о несчастном сыне Наполеона, восхитилась и решила перевести ее на русский язык. То был упорный многомесячный труд, подогреваемый не столько литературными целями, сколько любовью к судьбе и личности юного герцога.

Пожар увлечения горит в Марине всегда, не разбирая границ. Уже год спустя, случайно услышав в книжном магазине пренебрежительные слова Валерия Брюсова, сказанные в адрес Ростана, она, едва вернувшись домой, пишет знаменитому мэтру письмо, и в нем — главный вопрос: «Неужели вы видите в нем только блестящего фразера, зная его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?»

Благородство, любовь к подвигу и чистоте... Именно это, заметим в скобках, умники рационального века будут затем причислять к романтическим минусам Цветаевой.

Марина прочитывает о Наполеоне и его сыне горы книг, просматривает все альбомы, которые может достать.

(Мне довелось держать в руках толстый фолиант на французском языке из ее личной библиотеки. Мелким убористым шрифтом — помнится, книга без картинок и даже виньеток! — в ней была изложена история боевых походов наполеоновской армии. Можно бы, кажется, на месте юной девушки, которой должны быть скучны подробности такого рода, пролистать обстоятельный опус — и отложить в сторону. Но ничего похожего! Книга — вся! — испещрена карандашными пометами, сделанными характерным, рано определившимся цветаевским почерком. Все прочитано! Со скрупулезностью настоящего исследователя!..)

Саре Бернар в этот ее приезд в Россию было уже шестьдесят четыре года. Рецензенты русских газет с большей или меньшей деликатностью писали о закате ее актерских возможностей, горевали об утрате некогда «чарующего» голоса, отмечали усталость актрисы и отсутствие творческого подъема на многих спектаклях. Похоже, что и публика проявляла сдержанность в приеме, но некоторый ажиотаж вокруг спектаклей все же был. Наиболее восторженно принимала знаменитую актрису молодежь. Особенно проявилось это на последних спектаклях. 27 декабря 1908 года «Орленок» шел в Москве в последний раз. На следующий день давали спектакль «Дама с камелиями», а после него Сара Бернар уезжала прямо на вокзал. «Овации молодежи сопровождали великую артистку до выхода ее на подъезд», — писал рецензент «Московских ведомостей». При громких криках толпы, тронутая приемом, Сара Бернар сказала: «Какая чудная молодежь, как я счастлива находиться в центре России, в Москве, великой столице, которую я посетила впервые еще в годы моей юности...»

По мнению рецензента газеты «Речь», в этот приезд Сара сыграла Орленку иначе, чем прежде, — «не в барабанном стиле, а мягко и лирично». Рецензент находил даже, что спектакль прозвучал глубже и значительнее, чем сама роستانовская пьеса.

Такого «Орленка» и такую Сару Бернар впервые и увидела пылкая и сострадательная московская гимназистка. Жалость к юному обреченному принцу соединилась с болезненным сочувствием к закату звезды романтического театра — не желающей сдаваться годам актрисе.

Бонапартизм юной Цветаевой в эту зиму обнаруживал себя именно в таких одеждах.

Перевод «Орленка» она закончила весной 1909 года. Дала на прочтение двум-трем близким людям. Перевод был горячо одобрен читавшими. И вскоре... уничтожен автором! Только потому, что Марина узнала: перевод уже существует, она не первая! И, увы, цветаевского варианта «Орленка» уже никто не прочтет...

К гастроям Сары Бернар в России относится эпизод, который глухо и противоречиво рассказывала уже в старости Анастасия Цветаева. И не только рассказывала — записала в одном из изданий своих мемуаров.

Эпизод крайне значимый: о попытке самоубийства юной Марины. Анастасия Цветаева соотносила этот эпизод с гастролями театра Сары Бернар; будто бы именно на спектакле «Орленок» Марина попыталась застрелиться. Пистолет дал осечку. Вскоре после того, приехав в Тарусу на пасхальные каникулы, она намекнула о происшедшем младшей сестре. Анастасия Цветаева называла при этом 1910 год. Но тут память ее дает явственный сбой. Такая дата не стыкуется с гастролями Сары Бернар; последний раз актриса приезжала в Россию именно в 1908 году. Пасхальные каникулы тоже придется заменить на рождественские, — и тогда все становится вполне вероятным.

Мотив? Он мог быть романтическим жестом в духе времени: как дань любви к бедному герцогу — на спектакле, ему посвященном! Особую конкретность рассказу Анастасии Ивановны придавало упоминание о предсмертной записке Марины, — ее будто бы нашли в цветаевских бумагах весной 1922 года...

Увлечение Сарой Бернар было простым продолжением все того же увлечения «Орленком». Не пройдет и года, как юная Марина убедит отца отпустить ее в Париж — учиться на летних курсах «Альянс франсез»; солидная фирма уже тогда имела свои отделения во всех европейских странах. Но истинной причиной поездки была жажда снова увидеть на сцене Сару Бернар. А кроме того, возможность скупать по всему Парижу портреты Наполеона и его несчастного сына, как и книги о них обоих... «Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!» — так скажет потом об этом в своих воспоминаниях Анастасия Цветаева.

Глава 4

ЧАРОДЕЙ

В том же 1908 году в жизни Марины появляется новый друг, первый литератор на ее пути — Лев Львович Кобылинский.

Этому предшествовало появление в директорском кабинете Ивана Владимировича Цветаева высокой красивой дамы лет тридцати. Дама представилась зубным врачом и предложила бесплатно обслуживать всех служащих музея — за одно то, чтобы ей было разрешено брать на дом книги из Румянцевской библиотеки. Обычные библиотеки, пояснила она, ее не удовлетворяют, между тем как чтение — ее самая большая радость. Так состоялось знакомство Цветаева с Лидией Александровной Тамбурер.

Тамбурер оказалась женщиной не без странностей, зато необыкновенно сердечной. Вскоре она всей душой привязалась к младшим дочерям Цветаева, которых он привел в ее зубоучебный кабинет. А с Мариной вспыхнула настоящая дружба; почти двадцать лет разницы в возрасте не помешали их взаимной привязанности. Тамбурер с радостью дарила Марине то сердечное тепло, которого той всегда не хватало. Но она сделала и большее: подарила друга. Это был человек, встреча с которым стала для Марины событием.

Эллис — литературный псевдоним Кобылинского, внебрачного сына известного педагога Поливанова, в гимназии которого учились многие известные люди, в их числе поэты Брюсов и Белый. Эллис успешно окончил московский университет, где занимался отнюдь не филологией, а экономическими науками. Страстно увлеченный учением Карла Маркса, он вел кружок по изучению «Капитала», в одном из литературных

домов читал рефераты о прибавочной стоимости. Но в 1903 году о нем говорят уже как о *бывшем* марксисте: к этому времени он увлекся поэзией Бодлера и европейских символистов. В ответ на предложение университетского профессора политэкономии Озерова остаться при кафедре Лев Львович заявил, что все экономические премудрости, полученные в университете, — хлам, не стоящий и одной строки Бодлера.

События революции 1905 года втянули его, как и множество русских образованных людей, в свою орбиту. Он устраивает вечера в пользу нелегальных боевых организаций, собирает для них средства, дает приют преследуемым революционерам. За ним организована слежка; в доме, где он живет, делают обыски. И в конце концов Эллис арестован и посажен в Бутырки.

«К какой партии вы принадлежите?» — спрашивают его здесь. И он отвечает: «К декадентской!»

Так его и записывают.

Постепенно Эллис становится активистом этой «партии», быстро набирающей силу в послереволюционные годы. В это время газетные фельетонисты нехотя сменяют недавние издательские интонации по отношению к декадентам на спокойные. И Эллис — в первых рядах яростных и даже фанатичных проповедников символистского движения. Чуть ли не в каждом номере «Весов» — главного журнала русских символистов — он ожесточенно воюет с разного рода «уклонами»; по его мнению, выйдя из тени, символизм оказался затоплен «волнами всевозможного хулиганства и идейного шулерства». «Бесплодно полемизировать со всей этой саранчой», — пишет он в одной из своих статей, но сам яростно полемизирует и клеймит «всех этих сверхиндивидуалистов» и «мистических хулиганов».

Сама стилистика статей Эллиса выдает его неистовый темперамент: курсивы, восклицания, разрядки! Совсем как в прозе и письмах взрослой Марины: непрерывное бурление чувств, сомнений, мыслей, каждая из которых абсолютно неотменяема. «Он весь — проклятье и осанна!» — скажет позже Марина о своем друге в поэме «Чародей». А в 1910 году — то есть вскоре после сближения с сестрами Цветаевыми — выйдет в свет объемистый труд Эллиса «Русские символисты». Тут и история движения, и обстоятельные характеристики-портреты

«старших символистов», и все это сделано активнейшим участником движения!

Но своих соратниковв Эллис при этом не слишком радовал; в тогдашней периодике трудно найти добрый отклик на его статьи, переводы или стихи. Его переводы Верхарна Александра Блока возмущали; в журнале «Образование» Блок даже назвал статьи Эллиса в «Весах» уничижительно: «нервным мистицизмом», который следует лечить бромом.

С Андреем Белым Льва Львовича связывала личная дружба; они шли рука об руку еще со времен кружка «Аргонавты» (1902—1903). Именно Эллис был тем человеком, который привез в 1907 году в Шахматово Александру Блоку вызов на дуэль от Андрея Белого. Но и последний недобр в оценках литературного творчества друга. «Все талантливое в себе отдавал он кончику языка, бездарное — кончику пера», — зло напишет Белый в мемуарах.

(К счастью, то, что сходило «с кончика пера», можно сегодня перечитать. Ах, как максималистски требовательны всегда современники! И среди стихов, и среди переводов Эллиса есть очень даже талантливые вещи. Что же касается статей, то можно не разделять их пафоса, осудить запальчивую резкость, однако они уж никак не пустозвонны!)

Но любопытно: более чем сдержанно оценивая литературную работу Эллиса, и Белый, и Федор Степун, и Георгий Валентинов в один голос называют его незаурядным человеком. Марина Цветаева будет еще щедрее. Почти двадцать лет спустя она скажет о своем первом друге-поэте: «один из самых страстных символистов, разбросанный поэт, гениальный человек...»

Этот-то человек и стал другом Марины у ее литературной колыбели. Первая ее мысль о том, чтобы собрать воедино и издать собственные стихи, родилась как раз в связи с Эллисом...

С начала 1909 года возникли служебные неприятности у Ивана Владимировича Цветаева.

В гравюрном отделении Румянцевского музея обнаружилось крупное хищение. Сенат назначил ревизию, министр просвещения Шварц, давний недоброжелатель Цветаева, счел

время удобным для сведения старых счетов. Разбирательство, потребовавшее от Ивана Владимировича оскорбительных для него объяснений, затянулось почти на два года. Но поначалу казалось, что инцидент имеет локальный характер и скоро будет исчерпан. Не подозревавший о готовящихся новых кознях Цветаев уехал на археологическую конференцию в Каир, предполагая пробыть там месяца два.

На дворе стоял март 1909 года. И весенние вольные дни без отцовского присмотра укрепляют новую дружбу, подаренную сестричкам Цветаевым Лидией Тамбурер.

У Эллиса много друзей, тьма знакомых, его знают все, и он знает всех. И все же он бездомен, а неподдельная радость, с какой его каждый раз встречают юные дочери уважаемого профессора, греет его одинокое сердце. Он приходит по знакомому адресу все чаще и чаще. «Семь раз в течение недели такой звонок!» — сказано в поэме «Чародей», и, скорее всего, это чистая правда.

Каждый приход Эллиса в «шоколадный дом» — празднество для младших Цветаевых. Он завораживает рассказами, читает стихи — свои, Брюсова, Бодлера, рассказывает о рыцаре Розы, славном рыцаре Грааля. Рассказчиком он был удивительным. Однажды, вспоминал Белый, «он с такой потрясающей яркостью изобразил мне жизнь мифической Атлантиды, что меня взяла оторопь...»

Наверняка он говорил с сестрами и о том, что его страстно волновало в эти месяцы: о спорах в символистских кругах. Исполдволь он причащал их к идеям и к языку русской литературной современности. О возрастной разнице Лев Львович при этом явно забывал. Свидетельство тому — упоминание в цветаевской поэме темы, всерьез беспокоившей их друга в те годы: темы раздвоенности человеческой природы между добром и злом и постоянной борьбы человека с дьяволом. Эллис писал об этом статьи в «Весях» и, по свидетельству Валентинова, настойчиво говорил об этом в те годы с друзьями. «Я между дьяволом и Богом/ Разорван весь!» — восклицает и герой цветаевской поэмы.

Его внешность не обходит ни один из мемуаристов. Валентинов подчеркивает остро-зеленые глаза на белом мраморном лице, ярко-красные «вампирные» губы, неестественно черную бородку. В мемуарах Андрея Белого лицо Эллиса —



Марина с отцом

белое, как гипсовая маска, с узкими прорезями фосфорических глаз. «Такое лицо могло бы принадлежать Савонароле, Ривашелю или же... провокатору, если не самому «великому Инквизитору». Сюртук — некогда великолепный, покроем изыскан. Кобылинский выглядел бы в нем настоящим франтом, если бы не явная поношенность...»

Дендизм Эллиса был программным — вослед Бодлеру, Уайльд, д'Оревилли, но поддерживать его было нелегко: Лев Львович был вопиюще беден. Его заработки в журналах были тощими, и, кроме того, он ими совершенно не умел распорядиться. Ел кое-как и где придется, а манжеты и манишку к старому сюртуку изысканного покроя ему приходилось стирать ежедневно: смены не было. Рассорившись с матерью и братом, он жил в комнатке меблированной гостиницы «Дон», неподалеку от Смоленского рынка. Цветаева описала потом эту комнатку в эссе «Пленный дух». Здесь всегда были опущены плотные шторы и горели две свечи, освещаая бюст Данте... Встречались тут самые разные люди — от революционеров-нелегалов до Николая Бердяева. Беседы нередко продолжались ночь напролет; проголодавшись, шли перекусить и деспорить в ближайшую чайную для извозчиков, открывавшуюся около пяти утра.

Своего бытового неустройства Эллис не замечал. Всегда одержимый очередной идеей или очередным кумиром, он сомнамбулически зачитывал каждого, кто ему попадался под руку, текстами Данте, Бодлера или (позже) Рудольфа Штейнера. Он существовал вне быта; мир духа был для него несравненно более реален, чем видимый и осязаемый. В эти годы он увлечен еще и оккультизмом, а кроме того, набрасывал план книги «Тайна и таинство сна».

Знакомые черты! Такой выросла и Марина. Влияние? Несомненно, но лично ли Льва Львовича? Или атмосферы времени, которое входило вместе с ним в трехпрудный дом?..

С Эллисом в трехпрудный дом вошел двадцатый век; до того здесь царила Греция, Италия и музей, создаваемый отцом, музыка и немецкий романтизм, обожаемые матерью. Правда, Марина читала в гимназические годы и новейшую литературу, но Эллис был *сама эта литература*, ее живое воплощение! Однако не только литература.

«Он никогда не был тем, чем казался себе и нам, — писал

Белый, — ...лишь поздней открылось в нем подлинное ампула: передразнивать интонации, ужимки, жесты, смешные стороны своими показами карикатур на Андреева, Брюсова, Иванова, профессора химии Каблукова, профессора Хвостова, он укладывал в лоск и стариков и молодежь... он был великим артистом, а стал — плохим переводчиком, бездарным поэтом и посредственным публицистом... Он проспал свою роль — открыть новую эру мимического искусства...»

Несправедливо. Эллис обладал больше чем мимическим даром, ибо мимы бессловесны. Эллис же был еще и импровизатор, и талантливейший литературный пародист! Федор Степун вспоминал, что живые портреты Эллиса вовсе не были скучно-натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие его шаржи в большинстве случаев и разоблачали, и казнили имитируемых людей. Исступленный ненавистник духа благообразно-буржуазной пошлости, он вкладывал в уста своих жертв блестящие саморазоблачающие тексты, превращавшие их в карикатуры... Мало того. С непонятной силой Лев Львович вовлекал всех в свое действие, в том числе зрителей, решительно к тому не расположенных. Сеанс имитации действовал на присутствующих еще и гипнотически!

Цветаевская поэма «Чародей» дает великолепно емкий портрет: Эллис здесь не только фантазер и имитатор, но живой человек — вспыльчивый, переменчивый, экзальтированный:

Жерло заговорившей Этны —
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.

Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь все сжигает и горит,
О всем, что в мире *несказанно*,
Он говорит.

Нас — нам казалось — насмерть рая
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!
О, сколько раз

С шипеньем раздраженной кобры
Он клял вселенную и нас, —

И снова становился добрый...
Почти на час...

Цветаев вернулся из Каира раньше, чем предполагалось, из-за очередных неприятностей в Румянцевском музее. И приходы Эллиса в «шоколадный дом» теперь уже не так часты: отношение Ивана Владимировича ко Льву Львовичу двойственно. Андрей Белый утверждает в мемуарах, что профессору с самого начала казалась опасной дружба дочерей с этим «декадентом». А кроме того, присовокупляет мемуарист, Иван Владимирович был в то время влюблен в особу, отдававшую предпочтение Эллису. Не была ли то Лидия Александровна Тамбурер? Этого мы уже не узнаем. Но справедливости ради надо сказать, что и без того Цветаеву трудно было радоваться такому гостю. Чего стоила одна манера «декадента» не помнить ни времени, ни приличий: он мог засидеться (и засиживался!) до утра, чистосердечно забыв, где он и кто рядом с ним...

Однако самый скандальный конфликт разразился позже. В самый разгар лета 1909 года с Эллисом случилась беда. Он был «пойман с поличным» — как писали московские газеты — в момент, когда вырезал страницы из книг в зале Румянцевской читальни! На вопрос — зачем он это делал, Лев Львович простодушно отвечал, что пишет книгу и экономит время: вместо того чтобы переписывать, вырезает нужные ему цитаты.

Этот его ответ был опубликован в одной из газет — без пояснения, что вырезки-то Эллис, по его собственному твердому убеждению, делал не из библиотечных, а из своих книг! Ибо ему было разрешено приносить с собой в библиотеку портфель с книгами. Легко предположить, что то была чистая правда, и преступник даже не предполагал, что совершает преступление! Во всяком случае, в этом был уверен Андрей Белый, отрицавший саму возможность злонамеренности со стороны Льва Львовича.

Во всей этой истории Цветаев как директор Румянцевского музея вел себя совсем не так агрессивно, как об этом повествует в своих мемуарах Белый. Последний приписывает Ивану Владимировичу враждебность, продиктованную дружбой Эллиса с его дочерьми. Но это всего лишь предположение. Дру-

гое дело, что вся эта история была в высшей степени некстати для Цветаева на фоне продолжавшихся бесконечных ревизий в музее. Администрация музея не намеревалась доводить конфликт с Эллисом до публичного разбирательства. Но в конце концов вынуждена была это сделать, подстегнутая ядовитой заметкой в «Московских ведомостях» некоего газетчика, скрывшегося за псевдонимом.

Август и сентябрь стали для Льва Львовича временем глубочайшего отчаяния. Никто не хотел слушать его разъяснений. Все друзья оказались вне города (время было самое дачное), и Эллис увидел себя покинутым в труднейшую минуту своей жизни. «Я погибаю», «мои переживания удлинятся до астрологических и геральдических схем. Это ужасно», — пишет он в эти недели Эмилию Метнеру.

На 28 сентября 1909 года было назначено судебное разбирательство.

Эллис дисциплинированно явился в камеру Александровского участка к мировому судье Халютину в сопровождении своего поверенного. Но со стороны обвинителя не пришел никто. И судье ничего не оставалось, как дело прекратить. Только «Русское слово» и «Голос Москвы» сочли нужным сообщить читателям о том, что Эллис возместил ущерб за испорченные книги и принес извинения администрации музея.

Этим летом Марина была в Париже и до поры до времени ничего не знала о беде, собравшейся над головой ее старшего друга.

Она нашла себе жилье, разумеется, на улице Бонапарте; посещала лекции по старофранцузской литературе, писала стихи и очень грустила. Париж показался ей прозаичнее, чем она его себе представляла. И такое будет повторяться с ней раз за разом; неумная фантазия, мощное воображение, всё всегда опережающие, снимают сливки со всех ее реальных радостей! Ей и здесь грустно и одиноко.

Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде все пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз...

Впрочем, грусть на этот раз имеет оправдание. Этой осенью Марине исполнится семнадцать, и то был естественный бунт юной души, добровольно заточившей себя в книжный монастырь...

О беде, нависшей над Эллисом, она узнала из письма Аси. Вознегодовав на преследователей, она тут же написала старшему другу горячее письмо. «Вас не смеют судить, и если бы Вы раскрали $\frac{1}{2}$ музея, то все равно они не смеют вас судить!» — пишет Марина Эллису. И собирается немедленно возвращаться в Россию, чтобы защитить Льва Львовича. «Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» — эти строки из ее письма Эллис в ближайшие дни перескажет Андрею Белому, признаваясь, что тронули они его «до невыразимости».

А в декабре того же 1909 года Лев Львович прислал в Трехпрудный к Марине своего ближайшего друга, двадцатишестилетнего Владимира Оттоновича Нилендера. Сестры Цветаевы уже встречали его раньше в доме Виноградовых, а может быть, и в «Доне», где он жил рядом с Эллисом.

Нилендеру была поручена деликатная миссия: сделать Марине от имени Льва Львовича предложение руки и сердца.

В тот вечер Владимир Оттонович засиделся у сестер сверх всяких приличий. Как-то сам собой продолжался и продолжался нескончаемый разговор, — и про бедного Эллиса с трудом вспомнили...

Зато вспыхнула влюбленность — между Мариной и Нилендером. И ее последствия оставили заметный след в истории русской литературы.

Предложение Эллиса было отклонено, и можно только гадать, было ли вручено адресату стихотворение, написанное Мариной по свежим следам неожиданного события. Она назвала его «Ошибкой»:

Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой — она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.

Когда пленясь прозрачностью медузы
Ее коснемся мы капризом рук,

Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль —
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!

Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!

Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь, страсть! Гори, безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, —
Но без любви мы гибнем, Чародей!

Но и в 1910-м Марина и Лев Львович еще продолжали встречаться.

Неугомонный Эллис стал директором-основателем нового символистского книгоиздательства «Мусагет». Он вошел в «триумvirат консулов» вместе с Андреем Белым и Эмилием Карловичем Метнером. С осени 1909 года триумvirат заседал почти ежедневно вкупе с несколькими энтузиастами; среди них был и Владимир Оттонович Нилендер, специалист по античной литературе и классическим языкам. «Мусагет» официально открылся весной 1910 года на Пречистенке, 31, во втором этаже кирпичного флигеля дома, напротив памятника Гоголю, появившегося здесь год назад, и стал центром и средоточием русского символизма на его последнем этапе. Тут сплотились «младшие символисты» и, по словам Федора Степуна, «разрабатывалась программа издательства исключительная по своему культурному уровню и по бюджетной нежизнеспособности».

В противовес «Весам», ориентировавшимся больше на французскую поэзию и культуру, «Мусагет» был задуман по преимуществу германофильским. Над редакторским креслом Метнера висел портрет Гёте, мрачно смотрел со стены Рудольф Штейнер. Но в салоне можно было видеть портреты и Тютчева, и Пушкина. Из вечера в вечер тут чаевничал и об-

суждал жгучие проблемы кружок молодых поэтов, писателей и философов.

Просуществовал «Мусагет» всего четыре года (1910—1914), но книг успел издать много. Среди авторов были, прежде всего, немецкие философы, мистики и романтики — Яков Бёме, Экхардт, Новалис, Шлегель, Агриппа Неттесгеймский. А также античные авторы, и среди них — «Гераклит Эфесский» в переводе Нилендера.

Эта тоненькая книжка сохранилась в личной библиотеке Цветаевой, — вся испещренная ее пометами.

На базе издательства в 1912 году вышел и первый номер журнала «Труды и дни». К редактированию исторического сектора привлечен был Вячеслав Иванов, Метнер вел постоянный раздел журнала — «Вагнериана».

Но «Мусагет» был не только издательством. Он проводил публичные вечера, здесь читались почти академические курсы по истории и теории символизма. Андрей Белый играл ведущую роль, на его выступления собиралось неизменно много публики. Кроме всего, он открыл здесь для молодежи «Ритмический кружок». Эллис читал курс о Бодлере, Борис Садовской — о Фете, Нилендер вел семинарий по орфическим гимнам, свой семинарий имел и философ Федор Степун...

Эмилий Карлович Метнер молодых недолюбливал, и вскоре Эллис объединил вокруг себя кружок молодых поэтов и философов, дав ему название «Молодой Мусагет». Сначала кружок собирался на Пречистенке, затем встречи перенесли в студию скульптора Константина Федоровича Крахта.

В этой студии бывала и Марина, — хотя никаких подробностей об этом до нас не дошло. Здесь же бывал и молодой Борис Пастернак. Но то ли они посещали Крахта в разные дни, то ли не успели разглядеть и выделить друг друга, но их собственные воспоминания тех ранних встреч не зафиксировали.

В очерке «Пленный дух» Цветаева, упоминая «Мусагет», больше говорит об очаровательной и надменной Асе Тургеневой, чем о том, что же там происходило. Книгоиздательство предполагало издание второй цветаевской книги; Ася бралась выполнить для нее обложку, — она была гравером и уже оформила книгу стихов Эллиса «Stigmata».

«На лекциях «Мусагета», — вспоминала Цветаева, — честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала потому, что не слушала, вся занятая неуловимо вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижимым Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила...» «В Мусагете я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства — своего над всеми, я — всех над собой. Она — от торжествующей, я от непрерывно ранимой гордости...»

И все же они успели подружиться и оценить друг друга, так что Цветаева смогла потом написать о «простоте любви, сменившей во мне веревку — удавку — влюбленности». По маршруту свадебного путешествия Аси и Белого — спустя всего полтора года — отправится в свое свадебное путешествие и Марина.

В конце 1911 года Эллис навсегда уехал из России. В следующем году он еще присылал «Мюнхенские письма» в «Труды и дни». Некоторое время был фанатичным приверженцем антропософского движения Рудольфа Штейнера, но в 1913-м отошел от него. Написал труд о мистическом значении святого Грааля, мечтал привести Россию в лоно католицизма. Создал книги о Жуковском и о Пушкине. Продолжал писать стихи. На шесть лет пережил Марину. Умер в Швейцарии в Локарно-Монти в 1947-м.

Монографию, посвященную жизни Эллиса, швед Л. Юнгрен назвал «Русский Мефистофель».

Среди книг Цветаевой сохранилась одна с дарственной надписью Льва Львовича; это переведенная им с французского прозаическая книга Бодлера «Мое обнаженное сердце». Надпись гласит: «Дорогой Марине Ивановне от горячего поклонника ее чуткой, глубокой и поэтической души. Эллис»

Глава 5

«ВЗАМЕН ЛЮБОВНОГО ПРИЗНАНИЯ...»

Первую свою поэтическую книгу «Вечерний альбом» Марина выпустила в свет по причинам внелитературным; как сама она говорила позже — «взамен любовного признания человеку, с которым иначе объяснить я не могла».

Внезапно вспыхнувшее чувство к Владимиру Оттоновичу Нилендеру осложнилось уже в начале наступившего 1910 года непонятной размолвкой, за которую Марина сама себя корит в нескольких стихотворениях «Вечернего альбома». Не сестричка ли, тут же влюбившаяся во Владимира Оттоновича, сыграла роль своеобразной разлучницы? Но если даже и так, кто рискнет утверждать, худо ли, хорошо ли то было для Марины? Чуть ли не полтора года затем она живет под гнетом любви и разрыва, — и нет обстоятельств благодатнее для того, кто рожден поэтом!

В первую книгу она включила стихи, написанные, по крайней мере, за последние три года; и «Вечерний альбом» получился пухлый — более ста стихотворений!

Книга вышла в свет ровно к годовщине той знаменательной встречи с Нилендером в Трехпрудном. И названа была так потому, что сестры подарили тогда своему другу кожаный альбом с точно таким названием. Последнее стихотворение раздела «Любовь» — из редких здесь, точно датированных: 4–9 января 1910 года — завершается строками: «Не было, нет и не будет замены, / Мальчик мой, счастье мое!»

В ту пору издание книги было делом простейшим. Марине хватило на тираж в 500 экземпляров тех денег, которые она получала от отца как «карманные», типография же находилась рядом, в том же Трехпрудном переулке. Ни с кем не

советуясь, никого не беспокоя просьбой о предисловии, ни единого стихотворения не послав предварительно для дебюта (как это и до сего дня принято у пишущей братии) в газету, журнал или альманах, гимназистка восьмого класса — ей едва исполнилось восемнадцать — вступает в литературную жизнь.

На дворе — начало зимы 1910 года. Поэтических сборников печаталось тогда великое множество. И все же первая книга неизвестной Марины Цветаевой сразу получила критические отклики.

Первым был отклик Максимилиана Волошина, появившийся 11 декабря на страницах газеты «Утро России». «Это очень юная и неопытная книга — «Вечерний альбом», — писал критик. — Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее надо читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности...» Автор статьи отмечал ряд характерных черт таланта неизвестной поэтессы, и в частности владение «импрессионистической способностью закреплять текущий миг», а также удивительную открытость и искренность интонаций. Это тем более ценно, писал Волошин, что книга принесена «из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передавать наблюдение и чувство...»

Статья Волошина называлась «Женская поэзия». Автор сравнивал Цветаеву с современными ей женщинами-поэтами — Зинаидой Гиппиус, Поликсеной Соловьевой, Аделаидой Герцык, Черубиной де Габриак, Любовью Столицей... Доброжелательно отзываясь о других, критик писал, однако, что «ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала той наивности и искренности, как у Марины Цветаевой».

Искренность, перерастающая в интимность? Проницательнейшее наблюдение! Оно останется верным для характеристики цветаевского таланта (в любом жанре!) и позже. Но уже тогда это понравилось далеко не всем. Валерий Брюсов, который тоже одобрительно отзовется о стихах неизвестной Цветаевой, был все-таки этой интимностью шокирован. «Минутами становится неловко, — писал Брюсов в «Русской мысли», — словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не дол-

жны бы посторонние...» Николай Гумилев в «Аполлоне» тоже отметил «смелую (иногда чрезмерно) интимность» книги, добавив, правда, что автором ее «инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии», и потому «Вечерний альбом» — «не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

Только Волошин принимал «дневниковую распахнутость» юной Цветаевой с безоговорочной благодарностью. Даже объем цветаевского сборника (иначе говоря, отсутствие строгой отборности стихов!) в его глазах оказывался плюсом, ибо позволял достовернее увидеть живое девичье шестнадцати- и семнадцатилетие. Тут сказывался в Волошине не столько критик, сколько человек, всю жизнь относившийся с острым интересом к тайне человеческой личности. Малейшие ростки ее самобытности были ему захватывающе интересны.

Восхититься «Вечерним альбомом» сегодняшнему читателю мешает больше всего то, что он почти не узнаёт тут Цветаеву. Элегичность многих стихотворений, сентиментальность, обилие слов с уменьшительным суффиксом, все эти «деточки», «спаленки», «глазки» представляются теперь совершенно невозможными. Но юная Марина еще только нащупывала свои собственные слова и интонации. Вражда мечты и реальности, мотивы усталого разочарования, недоверие к жизни... Но в этой полудетской книге было другое, — оно-то и подкупало современников. В лучших стихах сила неподдельно искреннего чувства решительно прорывала пелену «литературности».

Читатель сталкивался в «Вечернем альбоме» с необычным сочетанием детскости и рано определившейся душевной зрелости; с миром человека, который немало знал уже о себе самом, успел многое перечувствовать и передумать. Собственный опыт, такой еще короткий, вовсе не казался автору незначительным, а оглядка на него — преждевременной. И вот, более трети всех стихотворений сборника — это стихи-воспоминания! Марина упоенно воскрешала в любовно выписанных подробностях «лазурный берег детства», уходящий с каждым днем все дальше, обнаруживала вкус к конкретностям ежедневной жизни — той поры, когда еще жива была мать, детских игр, чтения вслух любимых книжек, первых дружб и расхождений...

Это обстоятельство побудило еще одного рецензента Цветаевской книги — Мариэтту Шагинян — сравнить обаяние стихов юной Цветаевой с обаянием чужих писем, дневников и записок...

«Купила Вечерний альбом и с умилением читала все подряд, испытывая свежесть весны», — сообщала Волошину его приятельница, вскоре подружившаяся с Мариной, поэтесса Аделаида Герцык. Реакция характерная: психологическая подлинность, может быть, более всего завоевала читателей, ощутивших в книге дыхание ранней юности...

Вслед за Сент-Бёвом Цветаева считала, что всякий лирик уже в раннем периоде творчества непременно являет себя в какой-нибудь строфе, «которая могла бы стать эпиграфом ко всему его творчеству, формулой всей его жизни».

В «Вечернем альбоме» к такой роли подходит «Молитва» — стихотворение, написанное Мариной 26 сентября 1909 года, в день, когда ей исполнилось семнадцать лет:

Христос и Бог! Я жажду чуда!
Теперь, сейчас, в начале дня!
О дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:
«Терпи, еще не кончен срок!»
Ты сам мне подал — слишком много,
Я жажду сразу — всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой день — вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство — лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

Какой мощный родник желаний и воли бьет в этих двадцати строках! Какая сила — яростная, сокрушающая, как бурлящий поток горной реки, срывающийся с уступов! И эта максималистская концовка: все или ничего! Юная Цветаева как бы повторяла вслед за Блоком: «Жить стоит, только предъявляя безмерные требования к жизни: все или ничего».

Тема ухода из жизни не однажды возникает в первой поэтической книге Цветаевой. В разделе «Только тени» немало стихов, посвященных людям, рано ушедшим из жизни; есть здесь даже стихи о детях-самоубийцах. Но важнее другое — тема эта не только останется в цветаевском творчестве надолго, но со временем станет важнейшим лейтмотивом ее поэзии!

Вопрос об истоке этой особенности непросто. Похоже, врожденный душевный максимализм юной поэтессы сомкнулся с атмосферой времени, когда ей довелось сделать свои первые шаги в литературе.

Устрашающая волна самоубийств поднялась в России в 1909 году — и не спадала вплоть до 1914 года. «Эпидемия самоубийств» — называлась передовая статья в газете «Голос Москвы» 17 марта 1910 года; «Игра со смертью» — статья в «Утре России» 3 ноября 1911-го. Два подвала в предновогодней петербургской газете «Речь» занял Корней Чуковский, свои размышления он озаглавил «Самоубийцы»; философ Н.Лопатин в статье «Игра со смертью» писал и о «позёрских самоубийствах». Федор Сологуб, отвечая на анкету «Биржевых ведомостей» в апреле 1912 года, призывал «не бояться самоубийств, ибо они являются клапаном, дающим выход слабости»; Валерий Брюсов публиковал «Оду самоубийце»...

На этом фоне становится очевиднее, как многое «слилось и спелось» в «Молитве» Марины, так что отнести ее пафос исключительно к «требовательному возрасту» уже нельзя.

Это стихотворение — важный ключ и знак к дальнейшему. Позже цветаевская поэтика сильно изменится. Волевые энергичные интонации все увереннее будут вытеснять сентиментально расслабленные. Год от году замес становится все более крутым, отвердевает... — и в неуследимый момент глина превращается в фарфор.

Но этот прекрасный фарфор мог получиться *только из этого замеса* — и не из какого другого!

Глава 6

ВОЛОШИН

Вскоре после появления статьи в «Утре России» Волошин пришел в Трехпрудный переулок — незванным гостем, знакомиться. В этом приходе проявилась редкая цельность этого человека, который не считал возможным «отделять книгу от автора ее, слово — от голоса, идею — от формы того лба, в котором возникла она, поэта — от жизни...»

В цветаевской прозе «Живое о живом»:

«Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос:

— Можно мне видеть Марину Цветаеву?

— Я!

— А я — Макс Волошин. К вам можно?

— Очень!»

Он принес с собой статью, о которой до тех пор Цветаева ничего не знала. Их первая встреча продолжалась более пяти часов подряд. Так было положено начало одной из самых значительных дружб, которыми судьба наградила обоих.

К моменту встречи Волошин чуть не вдвое старше Марины: ей 19, ему — 33. За плечами старшего — насыщенно и пестро прожитая жизнь: участие в студенческих беспорядках, ссылки, путешествия по странам Европы, споры в парижских кафе, множество знакомств и дружб с русскими и французскими художниками, литераторами, учеными — и известность как автора ярких парадоксальных статей о литературе и искусстве. Волошин регулярно печатается в виднейших изданиях, но первая книжечка его стихов — он еще и поэт! — выйдет только весной того же 1910 года, когда они встретились с Мариной.

Чуть ли не ежегодно, вплоть до середины 1916 года, Максимилиан Александрович кочует из России во Францию и обратно, перемежая Париж, Петербург, Москву и Коктебель, пустынное местечко на восточном побережье Крыма, где у него свой дом.

В русских литературных кругах отношение к Волошину неустойчиво.

Когда в 1903 году его впервые «открывали» в Петербурге и Москве, «русского парижанина» окружала почти всеобщая влюбленность. Он покорял мастерством блестящего рассказчика, фейерверком парадоксов, умением слушать и талантом примирять спорящих. Андрей Белый был восхищен его способностью быть своим в самых разных кругах; Блоку в его петербургской квартире на Галерной Максимилиан Александрович читает Катулла и изумляет хозяина дома превосходным знанием языков и мировой поэзии...

Но Волошин был слишком нестандартной личностью, чтобы удержать надолго всеобщую влюбленность. Со временем его склонность к парадоксам, сама широта его увлечений и интересов начнут многих раздражать. Это в Англии умели восхищаться парадоксами Оскара Уайльда и Бернарда Шоу — в России всякая непохожесть быстро попадала под подозрение: а не юродивость ли? Людям, нестандартно чувствующим и думающим, испокон веков тут неуютно. И к Волошину начинает прилипать репутация оригинала во что бы то ни стало. А когда он осмелится (уже в 1913 году) поддержать молодых художников-футуристов, его попросту перестанут печатать в России.

Публицист и драматург Амфитеатров, раздраженный одной из статей Волошина, публикует в 1908 году грубый фельетон в газете «Речь», где выставляет критика типичным представителем парижской богемы. Еще один фельетон — популярного журналиста Власа Дорошевича — был назван попросту «Декадент». А после того, как Волошин дрался на дуэли с Гумилевым и на месте дуэли (год 1909-й) была найдена злополучная калоша, оказавшаяся волошинской, не удержался и Саша Черный, припечатав критика «Ваксом Калошинным»!

Но и среди людей, близких Максимилиану Александровичу, нет понимания. Умная и наблюдательная Евгения Герцык, в числе друзей которой были Бердяев и Шестов, находи-



Максимилиан Волошин

ла странной «эстетическую прожорливость» своего друга; ей казалось, что он с одинаковой жадностью глотает несовместимое, не ища синтеза и смысла. Синтез и смысл оставим на совести Герцык. Но вот его интересы и авторитеты, которые позже перечислил сам Волошин, вспоминая себя в эти годы: Ницше, Владимир Соловьев («Три разговора»), Штейнер, теософия, буддизм, католичество, оккультизм, Реми де Гурмон и другие французские поэты и теоретики... Что ж, было чему изумиться.

Маргарита Сабашникова, еще неразведенная тогда жена Волошина, чьи слова его ранили больше, чем чьи бы то ни было, тоже упрекала бывшего мужа за частую смену любимых идей и теорий:

— Ах, Макс, ты все путаешь, путаешь...

— Но ведь только из путаницы и может выступить смысл! — убежденно возражал ей Максимилиан Александрович.

Ни одна самая замечательная эстетическая, философская или религиозная система не могла удовлетворить его — хотя бы по причине своей завершенности. До конца своих дней он был настежь открыт живому опыту и новым истинам. Его уши и глаза были отверсты для любого слова и любой краски в мире, ничто он не торопился отвергать с порога, не расчувствовав как следует... Антидогматизм был, может быть, его единственным принципом: «Нет ничего более чуждого моему сознанию, чем догматика, — писал он в статье «Откровения детских игр». — Я люблю свои и чужие фантазии. Я люблю из чужих мыслей ткать свои узоры, но это всегда произвольно. Мне нужен произвол».

Спустя годы и годы Илья Эренбург писал о Волошине с симпатией, — но как же снисходительно! Он отдавал должное разносторонности интересов и превосходной фантазии Максимилиана Александровича, своеобразию его человеческого облика, удивлялся мужеству, проявленному в годы гражданской войны. Но Эренбург был человеком слишком *иного замеса*, чтобы оценить достоинства старшего друга. Он видел его лишь с внешней стороны — и воспринимал как талантливую эклектика, не слишком разборчивого пропагандиста чужих идей. Он понять не мог, как может сочетаться с волошинским жизнелюбием, с неумной его страстью к розыгрышам и всевозможным мистификациям, с этой опасной широтой инте-

ресов (от древнекитайской поэзии до проблем ионизации газов!) — глубина, определенность и обдуманность отношения к миру.

Еще как сочетались!

Эту зиму Марина, как всегда, много читает, продолжает писать стихи. Но мгла душевного одиночества, в которой она прожила весь прошлый год, начинает заметно рассеиваться. И причиной тому — крепнувшая дружба с Волошиным. Ко времени их встречи у Марины уже слишком накопилось состояние мучительной неудовлетворенности изоляцией от мира, в которую она сама себя поместила. В той замкнутости, которая естественно сложилась в детстве и отрочестве, теперь ей уже трудно было дышать. Эллис и Нилендер были первыми «взрослыми», кто вошел к Марине в трехпрудный дом из живой жизни. Эллис выводил ее из тесной комнатки, набитой книгами, рукописями и портретами обоих Бонапартов, — в «Общество свободной эстетики», на собрания «Мусагета». Нилендер пробудил любовь, на которую сердце Марины так горячо откликнулось. Если бы не младшая сестра, влюбившаяся в того же Владимира Оттоновича, Марина, наверное, вырвалась бы из своего книжного мира раньше. Но теперь были потеряны и Нилендер, и Эллис — она снова осталась наедине со своими книгами и тенями. И они уже не радуют ее как прежде. «Можно тени любить, но живут ли тенями/ Восемнадцать лет на земле?» — так сказано в ее стихах осени 1910 года.

Тут-то и явился Волошин. Живой, энергичный, восхищенный, не собирающийся ни влюбиться, ни жениться, но предлагающий дружбу и открывающий мир русских литературных собраний, куда Марина уже делала первые робкие шаги. Теперь это происходит на новых началах. Не как знакомую гимназисточку ведет Волошин Марину на Новинский бульвар в дом Алексея Толстого, только что переселившегося из Петербурга в Москву, а как автора талантливой книжки, как поэта! И как своего друга — на началах равноправия!

И литературные знакомства Цветаевой быстро ширятся. Она будет вспоминать потом, уже после смерти Максимилиана Александровича, что он обладал, среди других, еще од-

ним редким качеством: не только сам был «коробейником друзей», но страстно любил сводить, знакомить, «дарить» своих друзей друг другу...

Зимой 1910—1911 года Москву сотрясают студенческие волнения, связанные с истязаниями политических заключенных. Одновременно открывается выставка «Мира искусства» на Большой Дмитровке. А на театральных подмостках с огромным успехом идут пьесы Ибсена, восславляющие сильную личность, готовую бунтовать против всего мира. Но мы знаем достоверно лишь о том, *что читает* в эту зиму Марина и что она думает о прочитанном, потому что именно этой теме посвящены сохранившиеся ее письма Волошину.

Тема литературных пристрастий не могла не возникнуть между этими двумя книгоочаями в первом же разговоре, воспроизведенном позже Цветаевой в очерке «Живое о живом»:

— А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы...

В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а — к Ростану, к Ростану, к Ростану.

— А Анри де Ренье вы не читали — «*La double maîtresse*»? А Стефана Малларме вы не...

Этот разговор они оживленно продолжают и в переписке, хотя оба пока в Москве. Но — увы! — в марте в квартире Марины ставят телефон! И он отберет у нас множество неповторимо живых подробностей этой зимы.

Однако в начале апреля 1911 года Марина решает бросить гимназию; восьмой класс считался уже необязательным. И уезжает в Гурзуф. А Волошин отбывает в свой Коктебель. И снова возникают письма!

В Гурзуфе она снимает комнату в доме, который стоит над самым морем, на головокружительной высоте. Прямо со скалы можно спуститься к побережью, преодолевая страх: нога скользит, с трудом нащупывая опору; подбадривают только строки переименованного Бальмонта, Марина цитирует их Волошину: «Я видела море, сказала она, что дальше — не все ли равно?..»

Но море — чужое, холодное, где та радость, какую она тщетно ждет, уже в третий раз оказываясь в Крыму?

Весна в тот год выдалась прохладная. Купаться было еще рано, и все же крымская весна прекрасна. Цветет абрикосовое дерево, светит мягкое солнце, можно загорать, лежа на скале, которую все называют здесь генуэзской крепостью, смотреть вдаль, читать книги — и писать стихи. Настоящих собеседников нет: две скучные дамы и не менее скучный господин — соседи по дому — составляют общество, и Марина сбегает от них при каждом удобном случае.

Позже она вспоминала эти гурзуфские дни как «месяц чудесного одиночества». Но послушаем ее тогдашний голос. В письмах, отправленных из Гурзуфа Волошину, грустных письмах, — весь букет девичьего восемнадцатилетия: весна, море, музыка, книги — и чувство неприкаянности, от которого она не может избавиться. «Мучаюсь и не нахожу себе места...» — признается Марина своему старшему другу. Ей кажется, что книги, среди которых она привыкла жить, разрушили в ней способность к живой радости: «...много читавший не может быть счастлив!» — утверждает она решительно. Она ждет от Волошина подтверждения. Концовка одного из писем почти жалобная: «Только не будьте мудрецом, отвечая, — если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа...»

Это уже новость! Книжная мудрость у Марины теперь под сомнением...

Глава 7

КОКТЕБЕЛЬ

Месяц в Гурзуфе проходит быстро. Утром 5 мая Марина усаживается с вещами на скрипучую арбу. Переезд в Коктебель занял почти целый день.

Она впервые видит восточный Крым.

Ничего общего с Ялтой, Алушкой, Гурзуфом! Почти нет зелени. Рыжие мощные складки земли будто посреди бега к морю — враз застыли на месте. Даже прекрасные полотна Богаевского и акварели Волошина лишь изредка передают этот дух захватывающего воздушного простора над величественной сморщенностью земного покрова...

И вот — Коктебель.

Острое двузубье Сюрю-Кая, зеленая округлость Святой горы, маленькая татарская деревушка у их подножья. Полу-кружье залива с запада замыкают голые громады Карадага, с востока — мягкие очертания зеленовато-рыжих холмистых складок. В центре полукружия, у самого синего моря — дом. В те годы он стоял одиноко посреди пустынного берега — деревянный, двухэтажный, облепленный террасами.

Неузнаваемый Волошин бежит навстречу Марине.

Он в сандалиях на босу ногу, в длинной полотняной рубашке-хитоне, с полынным веночком на курчавой голове. А вот и мать Волошина — Елена Оттобальдовна: отброшенные назад седые волосы, орлиный профиль, белый длинный кафтан и синие по шиколотку шаровары... Уже через день ощущение странности этих нарядов исчезло, так органичны они были здесь, на древней киммерийской земле, в обрамлении этого неба, этого моря и скал. Чувство было скорее другое, — его опишет Цветаева много лет спустя: «Не знаю почему — и знаю почему — сухость земли, стая не то диких, не то домаш-



Дом Волошина в Коктебеле

них собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, — *этот* Макс, *эта* мать — чувство, что входишь в Одиссею». То есть в любимый с детства мир мифов и героев.

Этот Коктебель лета 1911 года — с мая по июль, всего-то два месяца! — станет для Марины Цветаевой праздником, лицом к которому она будет стоять всю свою оставшуюся жизнь, вглядываясь в подробности и так и не наглядевшись вдоволь, сколько бы ни припоминала. Она расскажет об этом в своей прозе; новые детали добавит сестра Анастасия в мемуарах. Но сколько бы их ни было, целого нам не слепить: волшебство счастья не раскладывается на составные!

К началу мая дом Волошина уже был полон дачниками-друзьями. За самую скромную плату мать Волошина сдавала комнатки в доме и пристройках; делом сына было созвать сюда не случайных, а милых сердцу людей. Впервые такая компания собралась здесь за два года перед тем, летом 1909 года: тогда здесь жили Николай Гумилев, Елизавета Дмитриева, молодой Алексей Толстой с художницей Софьей Дымшиц... Нынче гостили художники Кандауров и Богаевский и трое Эфронов — брат и две сестры, дети давней знакомой Волошина Елизаветы Петровны Дурново-Эфрон.

Удивительная атмосфера царила в волошинском доме. Кажется, всеобщим чувством здесь была радость; беспричинная радость, от которой блестели глаза, легко вспыхивал смех, а мир и море казались синее и прекраснее. Что было причиной? Само ли крымское лето или ни на кого не похожий хозяин дома, которого здесь все звали просто Макс, — трудно было определить, но Марина увидела себя словно на другой планете. Какой контраст с бытом и укладом их дома в Трехпрудном переулке! С его спартанским аскетизмом, подчиненностью ежедневного ритма суровому, хоть и любимому труженичеству, с одиночеством всех — порознь — в своих комнатах, за письменными столами или роялем. Она ощутила этот контраст уже во второй раз — первый был после поездки к Юркевичам в Орловку.

В Коктебеле тоже много трудились — сидели за столами или мольбертами, писали, читали, но праздник, радость, дружелюбная совместность были надежным светильником всякого уединения. Юмор здесь ценился чуть ли не превыше

всего; незнакомого человека могли сразу принять в свою компанию, едва он проявлял талант к сочинению веселых гимнов или иронических элегий.

Внешние события двух месяцев, проведенных в Коктебеле, состояли из прогулок в горы, — в одиночку и вдвоем с Максом, и еще вдвоем с Сережей Эфроном, и вшестером, и вдесятером. А еще были ближние и дальние пешие путешествия вдоль берега — в дальние бухты. И поездки по морю: турки-контрабандисты на веслах и несравненный гид — Макс, завораживающий своими рассказами о Киммерии и Одиссее, об амазонках и таинственном гроте в недалекой бухте. Грот получался уже совсем не грот, а вход в Аид... И были поездки посуху — на можаре в Старый Крым — слушать пение Ольги Сербиновой, старой приятельницы Волошина. Посещали и Феодосию, где у Волошина со времен детства множество друзей. И все участвовали в неистощимых волошинских выдумках и розыгрышах... Разумеется, и купались, и часами лежали на берегу, перебирая восхитительные округлые прибрежные камешки: этой «каменной болезнью» тут заболели все без исключения...

Поздним же вечером, а то и ночь напролет читали стихи на одной из террас или на крыше волошинского дома. Тогда наступали часы полного счастья. Крупные, низкие, яркие южные звезды висели прямо над их головами...

Но, может быть, не осталось бы в памяти Марины это лето самым светлым пятном в жизни, если бы оно исчерпывалось калейдоскопом внешних впечатлений. Не в том было дело.

Не только в том.

В юной Марине стремительно разрастался процесс благодетельного высвобождения от былой замкнутости. Она распрямлялась от тоски, граничившей с неврастенией, от гнетущих размышлений, доставлявших вполне реальные страдания.

Бабочка выпрастывалась из кокона — к живой жизни.

И когда младшая сестра спустя три недели приехала в Коктебель, она не могла прийти в себя от изумления: «Это — Марина?..» Загорелая, счастливая, легкая, будто вся пронизанная светом, в шароварах, со светлыми прядями пушистых,

чуть вьющихся волос, Марина смеялась. Куда подевались ее колючесть, настороженность, отстраненность, постоянная готовность к обороне ото всего мира! Еще недавно «я» и «мир» противостояли в ней друг другу, — в Коктебеле в какой-то неуследимый момент они слились. Будто кто-то повернул фокусное кольцо бинокля, и только что казавшиеся враждебными очертания мира вдруг прояснились — и оказались прекрасными. В Гурзуфе было то же море перед ее глазами, те же небо и горы, и солнце над головой, но не было места самой себе в мироздании! Теперь она будто ощутила себя камешком, вставшим на свое единственное место в прекрасной мозаике мира. Мир разом обрел цвет, запах, глубину, высоту — он *воплотился*.

Тут не было одного Пигмалиона. Он был в трех ипостасях: Коктебеля, Волошина — и высокого юноши, прекрасного, как принц, с глазами цвета моря. Его имя было — Сергей Эфрон.

Любовь вспыхнула по классическому канону — с первого взгляда. Их встреча потом плотно обросла мифами — в цветаевских стихах, прозе и письмах.

Вариант из «Истории одного посвящения»:

«1911 г. Я после кори стриженная. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! (вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

— Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешком — сбылось, ибо С.Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне — величайшая редкость! — генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной».

Еще штрих к началу — в письме Марины Сергею, написанном уже в 1921 году: «Вы сидели рядом с Лилей в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: “Ну можно ли быть таким прекрасным?”» И в том же письме (написанном уже спустя десять лет после встречи!) она добавляла: «Сереженька, умру



На террасе волошинского дома в Коктебеле.
Слева направо: Елена Отгобальдовна Волошина (Пра),
Волошин, Сергей Эфрон, Аля, Марина

ли я завтра или до 70 лет проживу — все равно — я знаю, как знала уже тогда в первую минуту: — Навек...»

«Он весь был — навстречу, — пишет о Сергее Эфроне в своих «Воспоминаниях» Анастасия, — раскрытые руки, весь, к каждому благожелательство, дружба, сияющие добротой и вниманием глаза, вхождение в душу...»

Сергея был сыном народоволки, народоволка же происходила из богатой и знатной семьи отставного гвардейца николаевских времен. И потому мальчик вырос в старинном барском особняке Москвы, в одном из тихих переулков Арбата. Он еще и теперь прекрасно помнил залу с колоннами и хорами, стеклянную галерею, зимний сад, диванную, портретную и мезонин, соединенный с низом — как в гораздо более скромном трехпрудном доме Марины — крутой деревянной лесенкой. Пять лет Сергей учился в престижной частной гимназии Поливанова, но потом трагические события, разразившиеся в семье, привели к продаже дома, и Сергей переехал в Петербург к своей старшей замужней сестре Анне. Еще в гимназии он начал страдать от бесконечной череды прилипавших к нему болезней; в 1910-м обнаружился еще туберкулез. И начались его скитания по санаториям.

Сергей был ровно на год младше Марины; он еще не закончил гимназии...

В этом году (и еще в 1913-м) в Коктебеле увлекались фотографированием. К счастью, многие фотографии уцелели. Их скверное качество все же не лишает нас возможности взглянуть на тогдашних обитателей волошинского дома. Вот на одном из снимков мы видим как бы сцену из жизни древней Киммерии: некто, похожий на чуть ли не Зевса (это, конечно, Волошин), воздев руку, вешает нечто непререкаемое, и ему благоговейно внимают юные гурии в шароварах и туниках, с венками на головах; а вот вся компания сидит на террасе за длинным деревянным столом вокруг самовара, большой уютной семьей. Волошина здесь нет — возможно, именно он и фотографирует, — и место хозяйки у самовара занимает Елена Оттобальдовна («Пра», как все зовут ее с этого года, что означает сокращенное «праматерь»). На другой фотографии — сестры Эфрон, Вера и Лиля, Сергей, Пра и Марина. Они сидят в кабинете Волошина, среди его книг. А вот и отдельно Марина — с раскрытой на коленях книгой, в том же кабинете-

те. Округлое девичье лицо, какая-то милая незащищенность взгляда, короткие волосы, которые на снимках постоянно получаются темными, хотя были светло-русыми. Еще один снимок: опять веранда, наполненная постояльцами дома, в центре стоит Марина, а на переднем плане, опершись на притолоку, стоит Сергей Эфрон, — похоже, что тут запечатлено чтение стихов Мариной. А вот и снова — Сережа и Марина. Первый выглядит здесь старше своих лет, Марину же сильно уродует пенсне. Других их совместных фотографий того времени нет, но на групповых они всегда рядом. Вот Сережа в шезлонге, под голову подложена подушка, он устало откинулся на нее (нездоров!), а рядом верным стражем в «матросской» блузке — Марина. Тут же сестры Эфрон, Владимир Соколов (в будущем актер Камерного театра) и Майя Кювилье (будущая жена Ромена Роллана).

Сережа с трудом переносил коктебельскую жару.

Оттого-то они скоро и уедут — уже вместе с Мариной — в уфимские степи, отпаивать больного кумысом и сливками.

С Максимилианом Александровичем отношения в Коктебеле утратили остатки «светскости», которая все-таки сковывала Марину в Москве. Макс стал дорогим другом, которому можно было доверить все. Но и доверять было не надо, потому что он все сам угадывал с полуслова — и без слов. От него исходило постоянное тепло не просто сердечного внимания, но восхищения — и как раз тем самым, чем она сама в себе больше всего дорожила.

Марина откровенно нежится в лучах волошинского неистощимого дружелюбия и жизнерадостности — и исподволь наблюдает за старшим другом; именно здесь она открывает его для себя по-настоящему. Его душевную уникальность, бесконечную мягкость, доброту, неисчерпаемость знаний — и потрясающую способность превращать будни в праздники.

«Чем я тебе отплачу?» — писала она Максимилиану Александровичу, едва покинув Коктебель. «Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе».

Кто мог знать, что лучшим это лето оказалось *из всех лет*, прожитых Цветаевой, она не раз потом говорила об этом. Отплатила она щедро: написав через двадцать с лишним лет



Марина и Сергей в волошинском доме

блестящую литературную эпитафию умершему другу: очерк «Живое о живом».

Они уехали вдвоем из Коктебеля в начале июля. Едут по рекомендации знающих людей — в Уфимскую губернию. Приют находят в Усень-Ивановском заводе Белебеевского уезда, в маленькой деревушке; там они снимают то ли домик, то ли комнатки в доме.

Письма, идущие отсюда в Коктебель, наполнены — иначе не скажешь — радостным щебетанием. С трудом Марина останавливает себя, чтобы сообщить хоть какие-то конкретности их быта. Быт упрощен до предела. Известно только, что Марина спит на какой-то раскладушке, угрожающей прорваться и уронить ее на пол при малейшем повороте. И — знаменательно! — о чтении сообщается в последнюю очередь: не это заполняет сейчас жизнь молодой пары. Хотя именно здесь оба замышляют несколько важных вещей: уход из гимназий — и творческие свершения. Не в этой ли деревушке Сергей начнет писать свою первую книгу «Детство», где даст неповторимый портрет своей избранницы в главе «Мара»? А Марина — не тут ли начинает составлять второй поэтический сборник «Волшебный фонарь»? Может быть, именно в эти дни созревает и решение соединить свои жизни навсегда? И отправиться затем в свадебное путешествие?

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час...
Милый, милый, мы — как боги!
Целый мир для нас!

В уфимской деревне написаны эти строки или уже позднее, не столь важно. Главное другое: резко изменившийся тонус, захлеб счастья, порыв души навстречу жизни, к миру, который утратил свою былую враждебность.

Они пробыли здесь до сентября.

Глава 8

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

В это время Иван Владимирович Цветаев проходит курс лечения в Наугейме, брат Андрей путешествует, старшая сестра Валерия тоже в отъезде. И, вернувшись в Москву, влюбленные поселяются в трехпрудном доме! Марина уступает Сергею свою комнатку с «наполеоновскими» обоями, а сама переезжает вниз, в бывшую девичью. Уже вернулась домой и Ася. Вечерами к ней приходит светловолосый красавец Борис Трухачев, с которым она познакомилась еще прошлой зимой на катке.

Две влюбленные парочки образуют веселую компанию. Они устраивают настоящие «оргии смеха», объедаются сладостями и заполняют дом неудержимым хохотом.

С опаской (а Сергей и с тихим ужасом) ждут они возвращения Ивана Владимировича. Он приехал 27 сентября. Но накануне молодежь еще успевает устроить последнее вольное празднество. «Мы праздновали зараз четыре рождения, — сообщает Марина в письме Волошину, — наши с Сережей, Асино, бывшее 14-го сентября, и заодно Борино будущее, в феврале... и вспоминали нашего незаменимого Медведюшку...»

Но это письмо отправлено уже не в Коктебель, а в Париж. Одна из московских газет предложила Волошину стать ее постоянным корреспондентом во Франции — и Максимилиан Александрович, не колеблясь, принимает предложение. Кроме журналистики, у него нет иных средств к существованию, и Париж он любит с давних пор. Следом за сыном и Пра собиралась ехать во Францию через Москву.

Однако обстоятельства заставили ее изменить намерение.



Коктебель. Третья слева — Марина Цветаева, второй справа — Волошин. 1913

В ожидании возвращения Ивана Владимировича Марина и Сережа не бездействовали: они подготовили рубежи для совместного существования. Уже снята квартира неподалеку от Трехпрудного переулкa, на улице с чисто московским названием: Сивцев Вражек; на шестом этаже только что отстроенного дома — квартира, в которой четыре большие светлые комнаты с итальянскими окнами. Увы! Им пришлось сразу отказаться от мечты жить вдвоем: тяжело заболела старшая сестра Сергея Лиля. И принято вынужденное решение: в новой квартире будут жить, кроме юной пары, обе сестры Эфрон. «Не знаю, что выйдет из этого совместного житья, ведь Лиля все еще считает Сережу за маленького», — пишет в Париж Максу огорченная Марина. И настаивает: «Я сама очень смотрю за его здоровьем, но когда будут следить еще Лиля с Верой, согласись — дело становится сложнее...»

Неожиданный приезд в Москву матери Волошина смягчает ситуацию. Пра решает остаться в Москве. Сестры Эфрон так нежны к ней, уставшей от одинокой жизни, что их предложение жить всем вместе одной семьей обольщает Елену Оттобальдовну. В квартире на Сивцевом Вражке ей выделяют комнату. Пра покупает кресло, кровать, стол — и оседает в Москве на всю зиму. Благодаря этому замечательному обстоятельству нам известно множество подробностей жизни «оборотника». Так вскоре прозвал их квартиру № 11 молодой прозаик Алексей Толстой, поселившийся двумя этажами ниже. (Впрочем, по другим сведениям, прозвище «обормоты» придумал не Толстой, а Волошин.)

И вот наша удача: Пра регулярно пишет письма сыну в Париж и красочно описывает в них все, что происходит вокруг нее...

Тут, правда, есть нюанс. Письма Елены Оттобальдовны не совсем объективны, когда речь идет в них о Марине (особенно в первые месяцы!). Долгое время Пра смотрит на молодую пару встревоженными и пристрастными глазами сестер Эфрон. А те, как и положено в таких случаях, не на шутку обеспокоены судьбой младшего брата. Они убеждены, что Марина эгоистична, не способна заботиться о больном юноше так, как надо, ужасаются режиму их жизни. «Я боюсь, что вся жизнь Сергея будет исковеркана», — пишет Лиля Эфрон Волошину.

«Мне очень жаль Сережу, — вторит ей Пра, — выбился он из колеи, гимназию бросил, ничем не занимается, Марине, думаю, он скоро прискучит, и бросит она игру с ним в любовь, а ему уж не подняться на ноги свои...» И еще в конце октября: «Марина бьет баклуши вместе с Сергеем, и оба живут точно посторонние жильцы в доме... Пропадет мальчишка ни за понюх табаку...»

(Не знаем мы, ох не знаем, когда и о чем нам стоит тревожиться! Все вздохи и страхи сестер и Пра так не по адресу... Было в этом браке роковое, — и еще какое! — но совсем не там, где это видят близкие и любящие. Кто и из-за кого пропадет в этом союзе? Кто из двоих оказался страшнее наказан? Кто был виновнее? И была ли вина?.. Нам не видны нити судьбы. Но канул бы ни за понюх табаку в Лету Сережа Эфрон, если бы не встреча на берегу моря со светловолосой девушкой, помешавшей ему в тот год спокойно окончить гимназию...)

Итак, Марина и Сережа бьют баклуши, пропадают целыми днями неизвестно где, ведут себя почти как посторонние жильцы в доме...

Бьют баклуши... Но уже 27 октября 1911 года Марина отвезла в типографию рукопись второй своей поэтической книги «Волшебный фонарь». И примерно в то же время отдаст в печать первое свое произведение Сергей Эфрон; его «Детство» выйдет одновременно со второй книгой Марины. Они в упор не видят никого в эти недели, даже когда сталкиваются нос к носу, — это так естественно... И уж совсем невозможно для них увлечься занятиями, которые поглощают теперь все время обитателей «обормотника»: те покупают коврики, картинки, безделушки и всякие красивые тряпочки, любовно обживая новое жильё...

Книга «Детство» обнаружила несомненные литературные данные Сергея Эфрона — вполне профессиональную выстроенность сюжета, легкий, естественный диалог; тут оказались смешаны быль и фантазии, и теперь уже трудно сказать, в каком именно соотношении. Но самое интересное в книге — глава, названная «Мара». Это несомненный портрет Марины, сделанный влюбленным в нее женихом. По правде сказать, портрет странный — и, пожалуй, не слишком обаятельный. Мара — странная девушка. Она фантазерка и сказочница,

почти не спит ночью, непрерывно курит. Утром она вялая, серая, не любит общаться ни с кем, никогда не завтракает, пьет только черный кофе. Во время обеда обычно стоит — и поясняет, что нет ничего хуже сытого состояния человека. Вечерами же оживляется и способна всех восхитить своими выдумками и рассказами.

Вот в доме, где гостит Мара, семья усаживается за дневной чай.

«— Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?

— Черного, как кофе.

— Ведь это очень вредно...

— Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, — скороговоркой продолжала Мара.

— Зачем же вы его пьете?

— Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая <...>.

— Вы, кажется, горячий противник гигиены?

— Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны. Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение «в здоровом теле — здоровая душа» вполне верно, — потому я и не хочу здорового тела.

Папа отодвинул чашку.

— Так здоровая душа, по-вашему...

— Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному!..»

И несколькими строками ниже:

«— Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самолюбленную девчонку. Я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многое не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит...»

(Уже в преклонные свои годы Анастасия Цветаева, рассказывая о сестре, подчеркивала: портрет, созданный юным Сергеем Эфроном в его первом литературном произведении, был на редкость похож на оригинал!)

Ровно год спустя после выхода в свет «Вечернего альбома» Марина пишет Волошину в Париж: «Дорогой Макс, у меня

большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван — все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь — очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить! Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, — мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь.

Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь? Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать — вот мое сегодня...»

А 8 ноября Волошину уже послано приглашение на свадьбу и предложение быть шафером. «Слушай мою историю, — пишет Марина в том же письме, — если бы Драконочка (Л.А. Тамбурер — *И.К.*) не сделалась зубным врачом... я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Нилендера, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы... с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретила бы с Сережей, — следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.!» И далее: «Разговор с папой окончился мирно, несмотря на очень бурное начало, — пишет Марина. — Бурное — с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.

— Я знаю, что в наше время принято никого не слушаться... (В наше время! Бедный папа!) Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и — «выхожу замуж»!

— Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.

Он, сначала:

— На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет.

А после:

— Ну, а когда же вы думаете венчаться?

Разговор в духе всех веков!»

Пра сообщила о помолвке сыну с не слишком доброжела-

тельной обмолвкой: «Марина женится на Сереже». В следующем письме тональность все та же: «Марина, по объявлении себя невестой, стала милее, разговорчивее, дружелюбнее...»

Жених и невеста обдумывают маршрут своего свадебного путешествия, когда от Макса приходит странное письмо. «Только что, — сообщает Пра сыну, — вошла в мою комнату Марина и прочла нам (мне, Лиле, Вере) часть твоего письма к ней. Чтение аккомпанировалось нашим дружным хохотом». Но Марина чувствовала себя оскорбленной. Позже она рассказала об этом единственном своем разминовении с Волошиным: «В ответ на мое извещение о свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения — самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!), — либо...»

Ближайшей почтой в Париж ушло разгневанное письмо невесты: «Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще. Спасибо за урок!»

Но с Максом нелегко было поссориться — он просто не давал своего согласия на ссору. Вскоре пришел его ответ, «любящий, бесконечно отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: “Итак, до свидания! — до следующего перекрестка!..”» Примиренные, растроганные, на вершине своего счастья легко забывающие обиды, Марина и Сергей шлют своему медведюшке фотографию, отпечатанную в форме открытки, с надписью: «Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби, и непременно обоих...»

Тем временем 3 ноября в «Обществе свободной эстетики», которым руководил Валерий Брюсов, состоялось первое публичное выступление поэтессы Марины Цветаевой с чтением своих стихов. На вечере, собравшем почти двести слушателей, выступало восемнадцать поэтов. Среди них были сам Брюсов, Владислав Ходасевич, Борис Садовской, Надежда Львова. Марина читала стихи вместе с сестрой, в унисон, «дуэтом», голоса у них были удивительно схожими (эта странная форма чтения удержится в их практике надолго). Успех был



Марина и Сергей. Декабрь 1911

безусловный. В открыточке, написанной Максуду на следующий день, Сергей откровенно хвастался: «Их вызывали на бис. Из всех восемнадцати поэтов, читавших свои стихотворения, они пользовались наибольшим успехом...»

На этом же вечере читал свои переводы из современной русской поэзии молодой француз Жан Шюзвиль. Он тогда жил в России, вел обзоры русской поэзии для журнала «Меркюр де Франс». С Мариной они встречались еще и у преподавательницы гимназии Брюхоненко, где училась Цветаева, — и там тоже читали стихи. Много лет спустя они встретились в Париже, и Жан страшно огорчил Марину. Вспоминая давние годы, он сказал ей: «Я так Вас боялся: Вы были так умны, так умны, что я испугался. Вы так мало были похожи на тот идеальный образ девушки, который есть у каждого молодого человека...»

Вскоре Марина и Сережа провожали на Брестском вокзале Асю Цветаеву и Лилю Эфрон, уезжавших за границу.

Отъезд увенчал успехом обдуманную дипломатию хитроумных сестричек. Младшей отъезд был необходим, дабы не обнаружилось раньше времени ее интересное положение, — при том, что брак с Борисом Трухачевым оставался весьма проблематичным: решительно возражала мать Бориса. А для старшей сестры облегчением стал отъезд Лили: напряженная атмосфера в Сивцевом Вражке немного разряжалась.

Ивану Владимировичу сказано было, что у Аси не в порядке легкие, требуется срочное лечение за границей. А Лиля, вроде бы, Асю сопровождала. На самом деле пути обеих почти сразу разошлись, ибо часом позже с того же вокзала следом за Асей ехал Борис Трухачев! Вскоре молодая пара воссоединилась и путешествовала далее вместе. А Лиля укатила в Германию — слушать лекции Рудольфа Штейнера.

Так кончался 1911 год, наступал 1912-й. Встретили его в «обормотнике» весело. «Пили шампанское, — отчитывается Пра перед сыном, — и вино у нас не по усам текло, а и в рот попадало. А рождественская елка наша при зажигании ее в первый же вечер сразу вспыхнула вся, пришлось ее заливать, а она стала чадить, заволокло дымом все обормотское гнездо, но не помешало веселью обормотов и их гостей...»

Минуло меньше года с тех пор, как Марина вышла из своего девичьего терема. Хлебнула всей грудью воздуха живой жизни, узнала радость преданной дружбы и взаимной любви.

Увидела себя вполне пригодной к ощущению счастья, а так уж в том сомневалась! Теперь она пишет Волошину: «Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля...» Она знает, кому жалуется: не Волошин ли, сам неутомимый путешественник, и заразил ее этим неодолимым желанием — ехать, смотреть, вбирать в себя новые впечатления?..

Свадьба состоялась 27 января. Волошин приехать не успел (а может быть, и не захотел); он появился в Москве только в середине февраля. Но молодые дождались его, подарили свои вышедшие из печати книги — и только тогда, 1 марта уехали в свадебное путешествие. Оно продолжалось почти два месяца, по сказочному маршруту: Париж, Вена, Милан, Генуя, Неаполь, Палермо, Сиракузы, Рим, а на обратном пути — Шварцвальд...

В Париже они встретили Асю — уже одну! Она успела поссориться с Борисом, и тот уехал обратно в Россию.

Втроем они бродят по городу, посещая святые для них места. Приходят на могилу родителей Сережи и его младшего брата и убирают ее цветами; навещают могилу художницы Марии Башкирцевой: ее знаменитый дневник оставил в сердцах обеих сестер неизгладимый след. Взбираются, конечно, на Эйфелеву башню; посещают улочку Бонапарте, на которой жила в 1909 году Марина.

Им весело.

Сережа шутит без умолку, и, как ни пыгается Ася помнить о своей «разбитой судьбе» и сохранять вид элегантной печальной дамы, ей это плохо удается. И, разумеется, идут в театр — смотреть Сару Бернар в «Орленке». «Сара с трудом ходит по сцене (с костылем). Голос старческий, походка дряблая — и все-таки прекрасно!» — сообщает Сергей сестре Вере в Москву. Затем молодые едут в Италию, а Ася возвращается в Россию.

Генуя, Милан, Неаполь — и, наконец, Палермо! Здесь они живут в отеле на четвертом этаже — «у самого неба!» — пишет Марина Волошину. Максу они пишут оба, потому что Сицилия сразу воскрешает в их памяти Коктебель, — те же горы, та же полынь с ее горьким запахом. Но рокошущая Этна пугает, тем более что они посетили разрушенную не так уж давно Мессину...

Глава 9

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ. СЕМЕЙНОЕ

Молодые вернулись к Троице, незадолго до самого праздничного дня жизни Ивана Владимировича Цветаева.

Музыка и музей — это было то, что безраздельно царило в трехпрудном доме с тех пор, как дочери Марии Александровны стали осознавать себя. «Музей был наш младший брат, — шутила потом Марина, — он рос вместе с нами...» Пытаясь проследить, когда именно родилась у отца мечта о русском музее античной скульптуры — тогда ли, когда в глухих Талицах Шуйского уезда за лучиной сын сельского священника изучал латынь и греческий, или тогда, когда, откомандированный Киевским университетом, он впервые вступил ногой на римский камень («Вот бы другие — такие же, как он (босоногие и лучинные), могли глазами взглянуть!») — Цветаева утверждала: то была мечта, «с отцом сорожденная».

Ближайшим помощником Ивана Владимировича в осуществлении грандиозного замысла была его жена Мария Александровна. Она вела всю его иностранную переписку, а потом, в бытность за границей, едва ей становилось лучше со здоровьем, ездила по поручению мужа по старым городкам Германии, «выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок». После смерти матери всю немецкую переписку отца взяла на себя Марина. А дед ее со стороны матери, умирая, оставил на музей часть своего состояния...

Детское воспоминание Марины: «Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася — бонне: “Августа Ивановна, а что такое музей?” — “Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный”. — “Зачем?” — “Чтоб студент мог учить”. <...> Пишем папе и маме письма, пишу —

я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале — по музею. “А вот еще Урал, а вот еще Урал, а вот еще Урал”, — и, заведя от рвения язык почти за край щеки: “А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей...”»

Наконец любимое детище Ивана Владимировича, великий человеческий подвиг ученого и, словами дочери, «четырнадцатилетний бессеребряный труд» — Музей изящных искусств имени императора Александра III, — был торжественно открыт. Это произошло 31 мая 1912 года.

В те дни Москва была украшена флагами и щедро иллюминирована: праздновали столетие победы над Наполеоном в войне 1812 года. К этому присоединились и торжества, посвященные памяти Александра III. Музей еще в колыбели получил имя только что умершего тогда царя, — так завещала первая жертвовательница на музей, сама умиравшая в те дни.

27 мая, в два часа дня, звон всех московских колоколов оповестил жителей города о вступлении царского поезда на территорию Москвы: из Петербурга прибыла царская семья.

30 мая был торжественно открыт памятник Александру III работы Опекушина. На следующий день состоялось открытие музея.

Стояла теплая прекрасная погода; жара умерялась легким ветром с Москва-реки. Утром этого дня газеты объявили о высочайших наградах, пожалованных архитектору Клайну, главному строителю Рербергу и обер-гофмейстеру Нечаеву-Мальцеву — «за ведение работ и сбор пожертвований на музей». Отдельно сообщалось о назначении заслуженного профессора Московского университета Цветаева почетным опекуном музея.

Ивану Владимировичу уже шестьдесят шесть лет, он ссутулился, здоровье его ослабло. Скромный, привыкший к естественному для него самоограничению во всех личных потребностях, он принужден был теперь сшить себе к торжественному дню парадный мундир, сверкавший золотым шитьем.

— Ну, зачем мне, старому человеку, золото? — сокрушался Цветаев, с ужасом прикидывая, во что это шитье обойдется. — Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

— Так это же не на себя, а для музея, папа! — уговаривает отца Марина. — Чтобы почтить твой музей. Твой новый му-

зей — твоим новым мундиром. Мраморный музей — золотым мундиром.

И Иван Владимирович — со вздохом:

— Разве что для музея...

То был для него великий день.

Торжественный хор воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений Москвы исполнил кантату и гимн. Дирижировал хором сам Ипполитов-Иванов, директор Московской консерватории. В три часа дня прибыл кортеж с высочайшими гостями.

Марина и Ася наблюдали за церемонией с гордостью и любопытством. Между тем им было совсем нелегко отстоять долгий молебен: до родов Аси оставалось всего два с половиной месяца, до родов Марины — на месяц дольше.

«Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. <...> Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что — с богами...<...> И еще одно разительное противоречие: между новизной здания — и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног...» Это уже взрослая Цветаева описывает тот памятный торжественный день.

А смешливый Сережа Эфрон, спустя всего неделю, гордо и весело писал о церемонии в письме к сестре Вере. О том, как важно он сам выглядел, облаченный во фрак (взятый напрокат) и цилиндр (позаимствованный у самого Ивана Владимировича). Он держался так непринужденно, что его поместили между графом Витте и обер-прокурором и обращались к нему не иначе как «Ваше превосходительство». Чуть не час он простоял во время молебна в двух шагах от государя. Удивился его неимператорской внешности — малому росту, молоджавости, добрым светлым глазам. Но большинство приглашенных составляли разваливающиеся сановные старики. Когда, во время пения «Вечной памяти» Александру III, они опустили на колени, «половина уже не смогла встать, — пишет Сергей сестре. — Мне самому пришлось поднимать одного старца — сенатора, который оглашал всю залу своими стонами».

Уже через год Ивана Владимировича Цветаева не станет. В некрологе, написанном его учеником В.В. Розановым, говорилось о «малоречивом, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатом, неповоротливым профессоре, который, казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно «тащился» и никогда не шел...» Но, «совершенно обратное своей наружности, — продолжал Розанов, — он являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера. Он был великим украшением университета и города...»

Вскоре после торжеств Марина повезла мужа в Тарусу — хотела, чтобы Сережа увидел эти любимейшие места ее детства и юности. Увы, Песочная уже была продана, брат Андрей прозевал торги!

Они остановились у Тью — так привыкли дети Цветаевы звать бывшую экономку умершего уже деда Марины по матери; Александр Данилович Мейн выписал ее в свое время из Швейцарии как бонну для дочери и обвенчался незадолго до своей кончины.

В деревянном одноэтажном, но просторном домике, окруженном старым липовым садом, старая Тью приняла молодых с нежностью и даже восторгом, а Сережу и с невиданным почтением. Он шутил, что она его принимает за английского лорда, скрывающего свое происхождение, и, чтобы сделать ему приятное, все время усердно хвалит Англию.

Дом сверкает чистотой, вся мебель — в чистейших полотняных чехлах с оборками, с оборками и пышное платье Тью, ковры, дорогие сервизы, часы, игравшие как оркестр...

Ритм ежедневной жизни здесь сохранил прочную умиротворенность, какой давно уже не было в городе.

Они сидят за завтраком и обедом часа по два, выслушивая обстоятельно-неторопливые воспоминания Тью. Прислуга в белой наkolке подает к столу подогретые тарелки, после обеда полагается шампанское, после каждого приема пищи нужно непременно полоскать рот. Аккуратность — девиз дома; недаром старшая сестра Марины Лёра вспоминала повторявшуюся воркотню добрейшей тетушки: «Ох эти русские коекакишны!»

Но вечерами, дождавшись момента, когда Тьо и прислуга ойдут наконец ко сну, молодые вылезают через окно в сад и отправляются гулять куда глаза глядят...

В сентябре 1912 года у молодой четы родилась дочь, названная по настоянию матери Ариадной. Сергей очень хотел назвать девочку именем попроще, но Марина решительно воспротивилась и не слушала никаких возражений.

Крестины дочери отложили до приезда из Коктебеля Елены Оттобальдовны, — родители только ее желали видеть крестной матерью. Но Пра приехала в Москву лишь в декабре. По случаю крестин она заменила шаровары юбкой. «Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гёте, орлиная голова. Мой отец был явно смущен, — вспоминала Цветаева. — Пра — как всегда — сияла решимостью, я — как всегда — безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере:

— Мать по лестницам бегаёт, волоса короткие, — как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина...»

После крестин Алю уложили в розовый атласный конверт — тот самый, в каком в свое время носили и Марину.

Через несколько дней Эфроны устраивали первую в своей совместной жизни елку. На празднике был и Иван Владимирович — то было его последнее Рождество...

Стихи пишутся, но как-то не слишком интенсивно. Поэтический дар Цветаевой обычно пробуждается от тоски и боли, а не от радости и благополучия, — такова уж его природа.

Между тем в художественной атмосфере России «расцветают все цветы». В Петербурге рождается новый журнал «Гиперборей», в котором напечатаны стихи Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Городецкого. Вскоре выйдет первая книга Анны Ахматовой «Вечер»; стихи здесь будут предварены предисловием петербургского мэтра Михаила Кузмина. В самом начале 1913 года появится номер недавно возникшего петербургского журнала «Аполлон» со статьей Гумилева и Городецкого: в ней провозглашено новое направление в искусстве — акмеизм; в число его приверженцев запишут те же имена — Ахматовой, Мандельштама, Гумилева и других; молодой петербургский ученый Виктор Жирмунский назовет их позже



И. В. Цветаев в парадном мундире почетного опекуна Музея изящных искусств имени Александра III. 1912

«преодолевшими символизм». В Москве появляются сборники «Пошечина общественному вкусу» и «Садок судей» со стихами Маяковского, Хлебникова, Бурлюка, Крученых, — это заявляют о себе футуристы. Стихи Крученых и Хлебникова в отдельном издании иллюстрируют Ларионов и Гончарова; футуристы в поэзии смыкаются с художниками «Бубнового вала» и «Ослиного хвоста». Игорь Северянин собирает огромную аудиторию в «Обществе свободной эстетики», пьеса Леонида Андреева «Екатерина Ивановна» вызывает долгие и бурные споры...

Шумные дискуссии возникают вокруг нового явления в сфере живописи — кубизма, и все чаще такие дискуссии перерастают во взаимные обличения представителей старого и нового искусства. Возникает и еще один шумный сюжет — вокруг репинской картины «Иван Грозный и сын его Иван»: полубезумный художник Балашов в Третьяковской галерее набросился на картину с воплем: «Довольно крови!» — и изрезал ее ножом. В противовес дружному хору негодующих в защиту Балашова неожиданно выступил Волошин. Сначала в газетной статье в «Утре России», а затем в большой аудитории Политехнического музея он пытался обратить внимание возмущенной публики на то, что в самой репинской картине присутствовали «саморазрушительные силы», спровоцировавшие припадок Балашова. Волошин говорил о проблеме ужасного в искусстве, о разнице между реализмом и натурализмом. Как и следовало ожидать, никто не услышал аргументации, — и теперь уже вокруг самого Максимилиана Александровича вспыхивает скандал. Безбожно перевирая сказанное Волошиным, пресса поливает его грязью, и ни одна газета не принимает собственных его пояснений...

В эти тяжелые дни Марина и Сергей протягивают своему «медведюшке» руку помощи. Они предлагают ему собрать воедино все, что относится к столь бурно обсуждающейся теме, и издают это отдельной брошюрой в своем домашнем «издательстве» «Оле-Лукойе»! Издательства как такового, вообще говоря, не существовало; год назад молодожены придумали его, чтобы самим издать Маринин «Волшебный фонарь» и Сережину книгу «Детство».

Брошюру Волошина назвали спокойно — «О Репине».

Прошла зима, и весной 1913 года семья Эфронов укатила в Крым. Лето в Коктебеле снова оказалось для них божественно счастливым. Долгие походы в горы, ночные костры, восходы солнца... «Ах, вчера было чудно! — пишет Марина в начале июня в одном из писем. — Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летающих облаков. Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстиях облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась. Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер. — Все небо летело... Сегодня... мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны...»

В это лето, среди других стихотворений, она написала блистательное, ставшее теперь хрестоматийным:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед!

Марине еще нет и двадцати одного года. Какая, однако, спокойная, ясная уверенность в своем даре, в будущем признании! Это ее своего рода классический «Памятник»: я сделал, что мог, *и это пребудет...*

Под стихотворением точная дата: 13 мая 1913 года.

Точная датировка стихотворений — годом, месяцем и числом — станет теперь характерной особенностью цветаевской лирики. Эта особенность, как и хронологическое расположение стихов в сборниках, которые она будет составлять, говорит об осознанной установке на ту самую «дневниковость» ее поэзии, какую отметил еще Волошин в рецензии на «Вечерний альбом».

Рукопись сборника, объединившего стихотворения 1913—

1915 годов, Цветаева назовет позже «Юношескими стихами», — хотя ей уже более двадцати. Но что верно то верно: здесь скорее слышен голос юности, едва вступающей во «взрослую» жизнь, только еще осваивающейся в этой нелегкой для нее ситуации. Каждый шаг юного человека дается ему непросто — слишком резок контраст между реальностью и привычными фантазиями! Одно стихотворение за другим воплощает конфликты адаптации: неуютная жизнь полна обид и непредсказуемо острых углов.

Идите же! — Мой голос нем,
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права...

В мировой литературе эти обиды и коллизии описаны не однажды, во всем разнообразии их вариантов. Но там они почти всегда воссозданы по памяти! С оборотом назад и неизбежным процеживанием и отбором подробностей! У юной же Цветаевой — как бы «репортаж с места действия», и ведется он с простодушием человека, не допускающего даже мысли о том, что его признания могут прозвучать для взрослого уха петушиным выкриком. Цветаевские стихи 1912–1915 годов — это импульсивные, эмоциональные, динамичные монологи; упреки сменяются в них обличениями, горделивый вызов — дерзостью, озорство — грустью, кокетство — торжественной декларацией...

Что видят они? — Пальто
На юношеской фигуре.
Никто не узнал, никто,
Что полы его, как буря.

Остер, как мои лета,
Мой шаг молодой и четкий.
И вся моя правота —
Вот в этой моей походке.

.....
Как птицы полночной крик,
Пронзителен бег летучий.
Я чувствую: в этот миг
Мой лоб рассекает — тучи!

На фотографиях, сделанных в Коктебеле в это лето, — новые лица. Среди них Майя Кювилье. Она тоже пишет стихи, и эти стихи нравятся Марине. Обе взбалмошные и своенравные, они нашли, что очень похожи друг на друга, одинаково подстриглись — «под пажей», подружились, сфотографировались в профиль, глядя друг на друга, и даже написали совместный цикл «Короли и пажи».

Задор, шутка, розыгрыш, примеривание к себе разных масок, усмешка над собой и еще — невероятная самоуверенность появляются в цветаевских стихах 1913–1914 годов. Ох как похоже это на желтую кофту молодого Маяковского и цветочки, какие рисует на собственном лице художница Наталья Гончарова! Волошин сразу отметил это в теперешней Марине и назвал детской болезнью собственного величия. Он-то понимал: пройдет! Со временем и прошло, но оставило свои следы. А еще — укрепило присущее Марине с раннего детства чувство независимости от чужих пересудов. «Пусть говорят, что им угодно! Не снисхожу до людских толков!» — девиз этот она с удовольствием прочтет уже во Франции вырезанным над входом в простой рыбацкий домик («Laissez dire!»), — и не раз повторит потом, что охотно вставила бы его в свой герб...

Но несомненно то была и дань времени. В начале XX века появлялись все новые и новые «измы» в искусстве, но при всех «измах» живуче сохранялся идеал сильной и самодостаточной личности, выявляющей себя безо всяких ограничений. «Никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким воодушевлением, как в наши дни, — писал Вячеслав Иванов в 1915 году, — никогда так ревниво не отстаивались права на глубочайшее и утонченнейшее самоутверждение»; «индивидуализм еще не исчерпал своего пафоса...» Сильная, независимая личность стояла в центре пьес Ибсена и прозы Уайльда, ее голос звучал в поэзии молодого Брюсова и в лирике Зинаиды Гиппиус. Брюсов называет свою книгу «Me eum esse» («Это я»), Маяковский повторит то же, выпуская свой первый сборник («Я!») и озаглавливая пьесу («Владимир Маяковский»), а позже и проставляя знаменитый эпиграф: «себе любимому». Популярность обретает и строка: «Я — гений Игорь Северянин!»

Вот он — я; делаю, что мне нравится, и заранее презираю всех, кто готов меня осудить!

«Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, — вспоминал много лет спустя Борис Пастернак в «Людях и положениях», — и, как мне это ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей».

Глава 10

ФЕОДОСИЯ

Так сложилось, что и на зиму Марина и Сергей с маленькой Алей остались в Крыму, переехав из Коктебеля в Феодосию. Врачи рекомендовали это Эфрону для укрепления его легких, а, кроме того, молодой отец семейства надеялся здесь завершить наконец свою затянувшуюся гимназическую биографию — сдать экстерном все необходимые экзамены.

Маленький старинный городок на берегу моря был подомашнему уютен. Уютен и экзотичен. Развалины старого генуэзского замка, иностранные корабли в порту, лавочки с восточными товарами, мусульмане, бродящие по городу в пестрых халатах и чалмах. Запах дрока, море, синее небо... И молодость, счастливая Маринина молодость, последний ее безоблачный год!

Дом друзей Волошина Редлихов, где поселилась молодая семья, стоит на холме, высоко над морем. Он вытянулся вдоль Аннинской улицы. Комнаты здесь с низкими потолками, вокруг дома небольшой сад. Благоухающие розы катят прямо в широко раскрытые двери комнат волны теплого сладкого аромата. С холма видно поблескивающее на солнце море. Совсем неподалеку, под горкой, на Бульварной улице, поселилась и Ася с маленьким сыном Андрюшей, родившимся на две недели раньше Ариадны, и няней. Увы, у младшей сестры семейная жизнь не сложилась: пышно отпраздновав свадьбу с Борисом Трухачевым весной 1912 года, молодые не нашли счастья в этом союзе — и к осени 1913 года уже расстались.

Волошин ввел Цветаевых в знакомые дома, — а знакома ему была, что называется, «вся Феодосия»: здесь он вырос. И очень скоро у сестер и Сергея образуется масса новых друзей.

Вместе и порознь они бывают на окраине Феодосии у вдовы Айвазовского, напоминавшей Асе императрицу Елизавету; гостеприимная хозяйка, она охотно собирает «людей искусства» и устраивает приемы, что называется, на широкую ногу. В правом крыле того же дома живет внук Айвазовского П.Н. Лампси — и у него они бывают, и у художника Богаевского на улице Дуранте, где встречается весь цвет Крыма и обеих столиц, и в скромном доме давней приятельницы Макса, строгой и категоричной Александры Михайловны Петровой.

Марину часто просят прочесть стихи. Преодолевая застенчивость, с мгновенно вспыхивающими щеками и потупленным взором, она соглашается. И читает — сначала тихо, потом все более и более крепнувшим голосом.

Благодаря волошинским связям Марина с Асей получают немало приглашений и официального порядка: выступить и в Военном собрании, и в зале Азовского банка, и в правлении Еврейского общества пособия бедным. Они обычно читают и тут вдвоем, «в унисон», как называет это Анастасия, уверявшая, что голоса их звучали неразлично. Некоторым эта манера кажется претенциозной и раздражает, но таких немного. Отзывы в прессе чаще всего сентиментальны: «По-прежнему трогательны были стихи, прочитанные сестрами в унисон, — пишет корреспондент газеты «Жизнь Феодосии», — они, как и в прошлый раз, обвеяли нас солнечной лаской... еще раз согрели одичавшие души... Спасибо милым сестрам!» В «Крымском слове»: «Я здесь второй год (писал некий автор, скрывшийся за псевдонимом «Н. Ав-в») и помню лишь один вечер, когда публики было еще больше... Конец третьего отделения превратился в нечто невообразимое. Рукоплескания, крики «браво» сливались в один сплошной гул... Каждое из прочитанных сестрами стихотворений покрывалось неумолчными аплодисментами...»

На улице сестер уже узнают, приказчики, стоящие у дверей лавок, шутят с ними, — все приветливы. Похоже, что в городке в эту последнюю мирную зиму русской жизни царят доброжелательность и сердечность...

На приемы и выступления Марина надевает красивые платья и с удовольствием заказывает новые портнихе. Коктебельскому приятелю она пишет: «Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда так мало жить!.. Прекрасно —

прекрасно одеваться вообще, а особенно — где-нибудь на необитаемом острове, — только для себя!» Она обожает сверкающие кольца, браслеты, носит аметистовое ожерелье, подаренное ей Асей на свадьбу, гранатовую брошь цвета темного вина...

Ей двадцать один год этой осенью, но выглядит она еще моложе, и, когда в незнакомой зале она объявляет очередное стихотворение: «Посвящается моей дочери», — изумленный вздох проносится по рядам.

(Как грустно теперь перечитывать эти стихи — несбывшиеся пророчества счастливой матери своему ребенку! Она ворожила и колдовала своей большеглазой девочке, пытаясь разглядеть ее будущее, но из всех возможных бед увидела только «вероломного Тезея»! И слава Богу. Не только голодное детство, но даже двойной арест, долгий лагерь и ссылку стойкая и жизнелюбивая Ариадна сумеет снести, ни на йоту не упав духом. Заранее и издалека — зачем и знать?..)

Марина буквально купается в материнских чувствах. Ее записная книжка щедро фиксирует первые слова и первые фразы маленькой Али; мать в восторге от ее способностей — и от ее красоты. «Ты будешь красавицей, будешь звездой, ты уже сейчас красавица и звезда, — записывает Марина. — Ты уже сейчас умна и очаровательна до умопомрачения. Я в тебя верю, как в свой лучший стих!» В самом деле, увидев девочку, люди останавливаются на улице — так она хороша со своими огромными (отцовскими) голубыми глазами. Однако при всей заливающей ее нежности молодая мать строга и неотступна: ежедневно девочку обтирают холодной морской водой, и шпинат, вызывающий ее отвращение, Аля должна съесть, каких бы мук ей это ни стоило. В доме заведен порядок: отец и мать разговаривают с крошкой, которой еще нет двух лет, как с большой: сюсюканья здесь не терпят. И Аля уже с удовольствием и страстью учит стихи, — слава Богу, пока еще детские.

Наезжая в Феодосию из Коктебеля, Волошин всякий раз бывает в доме на Аннинской улице, — его одинокому сердцу дорога ласка, которую он неизменно находит у своих молодых друзей; а они рады ему в любой день и час. Прошедшее лето оказалось для Максимилиана Александровича тяжелым. Общительный и сердечный, он всегда летом отдавал себя на растерзание дорогим друзьям, совершенно не оставлявшим

ему времени для работы и размышлений. Нынче же это еще тяжело усугубилось настойчивой влюбленностью Майи, не отходившей от Макса ни на шаг. Он терпел, улыбался, утешал, боялся обидеть — и измучился беспредельно. К концу лета, к разъезду гостей, он чувствовал в душе полную омертвелость, от которой не чаял избавиться. «Я быть устал среди людей...» — строка стихотворения, написанного им как раз в эти месяцы...

Но, приезжая в Феодосию, Максимилиан Александрович неукоснительно навещает сестер. И они засиживаются вместе допоздна. Только Сергею часто приходится отъединяться: экзамены замучили его.

Теплая ночь, низкие крупные южные звезды...

С наслаждением поедая синий изюм и любимую фруктовую колбасу с орехами, сестры заводят со своим старшим другом модные в этом году разговоры о бренности, о безнадежности всего на свете, об ужасе старости, о смерти... Особенно увлечена этими мрачными темами Анастасия. Она запишет в своем дневнике один из таких разговоров, честно ручаясь лишь за дословную достоверность собственных фраз. Подслушаем их разговор:

— Как ты думаешь, Макс, возможно ли самоубийство спокойное, без всякого аффекта? — спрашивает Ася.

— Конечно, возможно, — отвечает Волошин, — правда, в нем нет смысла. Ведь можно убить свое тело, но дух будет продолжать мучиться теми же муками — для духа смерти нет. Уничтожить свой дух, впрочем, можно — через зло, и тогда это будет уже уничтожение во всех мирах...

— А если я и не хочу никакой трубы архангела, никакого воскресения? И делаю то, что могу, то есть уничтожаю себя? Это просто мой бунт!

— Бунт, — успокоительно говорит мудрый Макс, — самое сыновнее чувство. Бунт идет из глубины веков, и непокорные вместе с творцом творят мир. Бунт, Ася, может быть, ближе к Богу, чем вера...

— Макс, — снова пристает Ася, — а это нормально — так все переживать, как я переживаю?

— Но каждый человек, Ася, чем-нибудь да ненормален. А кроме того, нужное дело в мире только и делают люди не совсем нормальные...

Всю эту осень и зиму Волошин почти безвыездно проводит в своем Коктебеле. После того как он осмелился вступить за безумного Балашова, столичные газеты и журналы закрыли перед ним свои двери. Самым скверным было то обстоятельство, что журналистская и критическая работа была главным источником существования Максимилиана Александровича. Но зато теперь, когда его уже не раздирали заказы на мелкие подёнки, он может, наконец, подготовить к изданию книгу своих статей. При феноменальном его неинтересе к славе, известности, репутации он никогда бы не собрался сделать это, несмотря на все упреки друзей. Но теперь он упорно работает, не отвлекаясь и радуясь своему уединению. Не было бы счастья...

Новый 1914 год они встретили все вместе, — и эта встреча так прекрасно была описана позже Цветаевой, что не обойтись без цитирования.

День 31 декабря выдался ветреным и снежным, Сергей совсем недавно перенес операцию аппендицита, — но ничто их не остановило! Если бы не возница Адам, вспоминала позже Цветаева, «знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса», никто бы не поехал на лошадях в такую погоду из Феодосии в Коктебель. «Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно-белой бородой: — Что, панычи, живы? <...>

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс. — Сережа! Ася! Марина! Это — невозможно. Это — невероятно.

— Макс! А разве ты забыл:

Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо — есть!»

Они приехали с массой провизии и подарками от феодо-



Марина и Ася. Феодосия. 1914

сийских друзей Волошина. И так увлеклись пиршеством и разговорами, что чуть было не спалили дом. Из-за неисправности печки пол под ней начал тлеть, а когда схватились, оказалось, что уже сгорели балки, и только глиняный накат под ними задержал пламя.

Макс призвал на помощь дворника Василия. Три часа ушло на взламывание половиц, выгребание углей и заливание огня. Потом Василий ушел, рассказав на прощанье Максимилиану Александровичу, что накануне они с женой видели одинаковый сон: красную корову в саду. Что предвещает пожар. И что если в первый день нового года был огонь, значит, весь год будем гореть...

Вспомнилось ли им это пророчество ближайшим летом? Наступал ведь не какой-нибудь год — 1914-й...

В превосходном цветаевском очерке «Живое о живом» нет никакого Василия, как нет ни взламывания половиц, ни прочего мусора бытовых подробностей. Марина, Сережа и Ася там бегают с ведрами к морю и обратно, но пожар потух, пишет Цветаева, даже не от воды, а от заклятий Макса, «вставшего и с поднятой — воздетой рукой что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь. <...> Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восстановленный любовью и волей одного человека, уцелел весь... Что наши ведра? Пожар был остановлен — словом...»

В Феодосии Марина напишет свою первую поэму — «Чародей». Ее герой — Эллис, ее ритмы уверенны и заразительны, рифмы свежи, юмор и нежность сплетаются в неразделимое целое.

«Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам», — записывает Марина по завершении поэмы. И тут же поправляет себя: «Нужно было бы сказать — человека».

И далее: «Я смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, как Пушкин, если бы не отсутствие плана, группировки, — просто полное неимение драматических способностей... Возьми я вместо Эллиса какого-нибудь исторического героя, вместо дома в Трехпрудном — какой-нибудь терем или дворец, вместо нас с Асей — какую-нибудь Марину Мнишек или Шарлотту Кордэ — и вышла бы вещь, признан-

ная гениальной и прогремевшая бы на всю Россию... «Второй Пушкин» или «первый поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю и, может быть, дождусь и при жизни.

Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего».

Так пишет в своей записной книжке Марина Цветаева 4 мая 1914 года. Ей двадцать один год.

Глава 11

АСЯ

Весной 1914 года в руки Анастасии попало «Уединенное» Василия Розанова. Она прочла книгу с восторгом, тут же написала письмо автору — и получила от него ответ! «Настя, кто ты? Откуда такой глубокий тон в 19 лет?» — от этих строк в письме старого литератора юная голова просто не могла не закружиться! Тем более что Розанов прислал и второе письмо, в котором сообщал, что считает себя учеником ее отца.

Теперь и Марина сочла себя вправе написать Василию Васильевичу. Она рассказала ему и об отце и о матери, о последних днях и часах Ивана Владимировича, о себе, о своем муже, о своих стихах, — бесценное письмо, ибо от тех давних времен таких обстоятельных цветаевских писем сохранилось немного. Но, может быть, самое замечательное здесь — тональность: счастливый щебет юного существа, уверенного в доброжелательности всего мира. Вот отрывки: «Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной... Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю... Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем... За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге...» И снова о муже: «Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней...»

В третьем письме тому же адресату она уже решается просить о заступничестве перед директором феодосийской гимназии, в которой Сергей будет весной сдавать последние свои

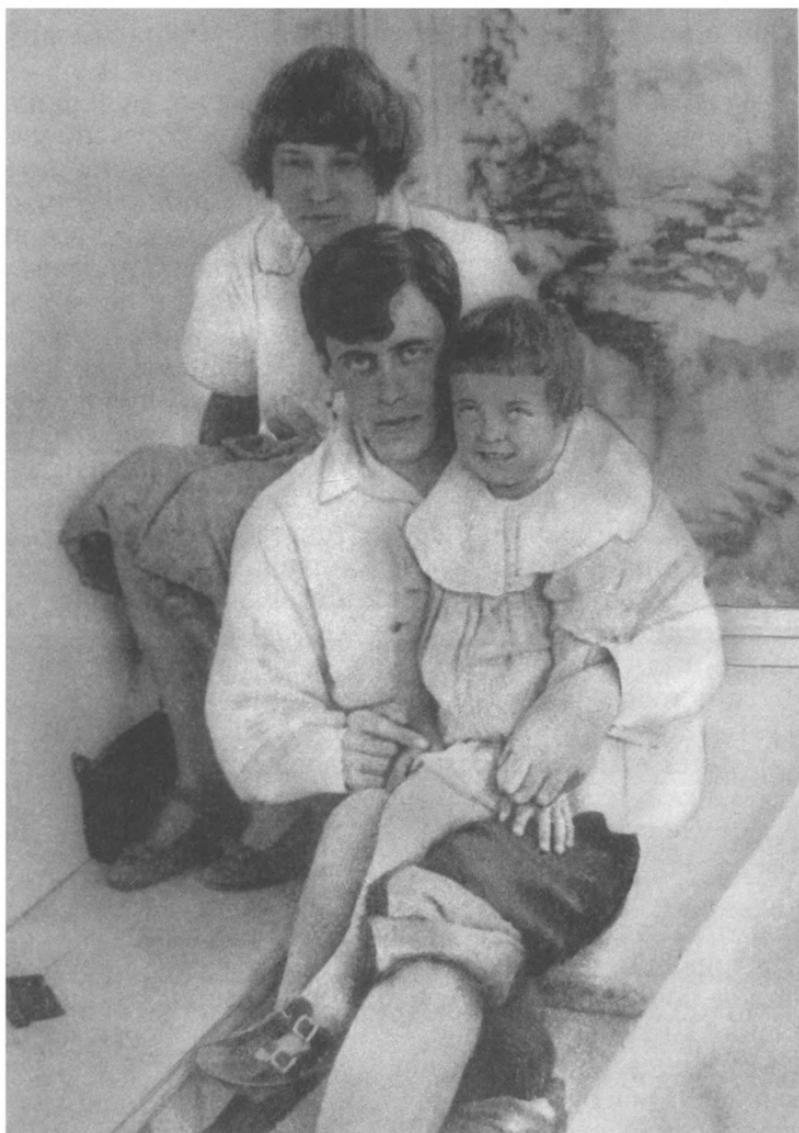
экзамены. Директор боготворит Розанова, и вот если бы он получил в подарок «Уединенное»... да словечко, замолвленное за Сережу...

Увы, теперь уже нельзя узнать достоверно, исполнил ли писатель неожиданную просьбу своей юной корреспондентки... Зато достоверно известно, что директор получил письмо от Ивана Владимировича Цветаева! И эффект был тот самый. Хотя сам Эфрон готовился к экзаменам на совесть, все же и тему сочинения ему сказали накануне, и задачки по тригонометрии! Но все равно он страшно волновался и не верил до последней минуты, что выдержит. Прошел! Причем единственный среди всех феоdosицев, сдававших экзамены экстерном!

Марина влюбленно описывает в дневнике внешность мужа: «Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры; длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на котором горят и сияют *огромные* глаза... и зеленые, и серые, и синие... Лицо единственное и незабвенное под волной темных, с темно-золотым отливом, пышных густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в котором сосредоточились весь ум и все благородство мира, как в глазах — вся грусть. А этот голос — глубокий, мягкий, нежный, этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его — такой светлый, детский, неотразимый... А жесты принца!»

5 мая они отмечают трехлетие своей встречи. В ту же записную книжку жены Сергей вписывает: «Где бы Вы ни были, я всегда буду с Вами, и этот четвертый год, как те три. Все, что Вы делаете, прекрасно...»

Решительная и самоуверенная младшая Цветаева, получив ободряющий ответ от Розанова, решает сама писать философское сочинение. Ее очередной поклонник приносит ей сочинения Шестова и Ницше, — и вот Анастасия решает «дописать» ницшевское «Так говорил Заратустра!» Ни больше и ни меньше! Она будет первой женщиной-философом — на зависть и удивление всем! Почему бы и нет? Старшая сестра будет первым поэтом России, а она... Асе еще нет и двадцати, энергии — через край, сам Розанов находит в ее суждениях «глубину», а страсть писания сидит в ней с давних пор. С двенадцати лет Ася строчит свой дневник и буквально одержима этим занятием: пишет в ресторане, в ожидании, пока



Марина, Сергей, Аля. Крым

официант принесет ей заказанное блюдо, пытается записывать что-то в тетрадку даже в лодке, захлестываемой разбушвавшимся морем, — в пяти минутах от реальной возможности пойти на дно (записанными, правда, оказываются только два слова: «холодно» и «мокро»). И часами упоенно она читает свои дневники — всем, кто подвернется!

Марина подогревает ее страсть, и вот Ася уже мечтает: «Издам — и прогремит мое имя, как гремело имя Башкирцевой, только крепче и горше!»

Она настойчива и упорна; решила — сделала, и в апреле 1915 года выйдут-таки из печати ее «Королевские размышления»! А немного позже она слепит из дневников и следующую книгу — «Дым, дым, дым...»; эта появится на книжных прилавках в 1916-м...

Книги эти невозможно оценить однозначно.

Из-за абсолютной нечувствительности Анастасии к стилиевой окраске письменной речи ее претенциозность, нарциссизм и эгоцентризм производят то раздражающее, а то и просто комичное впечатление; прочесть книги от начала до конца возможно лишь при крайней необходимости.

В «Королевских размышлениях» все вертится вокруг одного: автор признается, что не верит в Бога и в загробную жизнь, а потому убежден в полнейшей бессмыслице земного существования. Он постоянно ощущает под ногами «бездну», и оттого жизнь в его глазах теряет смысл. (Словечко «бездна» явно запоздало: оно было модным лет десять назад, — тогда без него не обходились ни в одном приличном «читающем» доме!) Анастасия разделяет взгляды Ивана Карамазова и любит тургеневского Базарова, но она упоминает еще и Ибсена, и Канта, и Ницше, и Шестова. Люди, утверждает она, всего лишь мыльные пузырьки или мотыльки-однодневки, земля — всего лишь шарик, который летит в бесконечность; все мгновения жизни равноценны. А потому не надо принимать всерьез ничего в этом глупо устроенном мире. Надо быть добрее и проще, не надо вражды, не надо никакой гордости... Но и надеяться не на что, — все в этой жизни окрашено безнадежностью.

Безнадежность, безнадежность! С этим словом Анастасия, кажется, не расстанется. Но мы найдем его и в стихах старшей сестры в эти месяцы! Несмотря на то, что переживала она счастливейшее время своей жизни...

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.
Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль гонуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромн ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из маленьких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

Модная «безнадежность» здесь так смягчена нежной любовью к себе самой и к прелести предвечернего часа, что кажется скорее сочувственной данью настроениям сестры! Хотя в одном из писем тому же Розанову и Марина признается: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить».

Это признание любят цитировать исследователи и биографы Цветаевой, не обозначая его хронологических рамок. Они забывают сказать, что в «испепеляющие годы» реакции чуть ли не вся Россия заболела атеизмом и, что еще важнее, — атеистический нигилизм Марины испарится уже в 1916 году...

Обе книги младшей Цветаевой имели даже свои достоинства в сравнении с литературной продукцией тех лет. В конце концов в разлитом море «ниспровергателей мешанской морали» десятых годов XX века самолюбование и дурновкусие были нормой; в романах, повестях, драмах царила мода

на раскованного, «освобожденного» героя, «переоценивающего жизненные ценности». Анастасия, слава Богу, не тшилась со-здавать «художественную» литературу. Она представляла читателю исповедальную прозу, убежденная в великой значимости личности вообще — и собственной в частности. Но значимость личности и исповедальность были тоже знамен-ем времени... В статье 1916 года «О современной литературе», опубликованной в «Биржевых ведомостях», Михаил Гершензон писал: «Переворот, произведенный «декадентами», «сим-волистами», заключался именно... в принципиальном провоз-глашении личной свободы художника... Ярмо снято — иди куда хочешь. А свобода — хоть и приятная, но трудная вещь... Литература готовых общественных идей запрещена и не при-нимается, нет, дай чистое золото твоего духа, твоей интуи-ции!... Оттого успех Игоря Северянина так симптоматичен для наших дней. У него «внутри» делаются сущие пустяки, шалости, но он рассказывает о них непринужденно и открово-венно, и нельзя не простить молодежи эту жадность на испо-ведение сердца, хоть и легкого, но все же сердца, а не мора-лизующего ума».

Юная Анастасия Цветаева упоена собственной откровен-ностью, ее девиз: «я ничего не прячу, ничего не прикраши-ваю, каким бы это вам ни показалось». И, похоже, она иск-ренна, а дикий нарциссизм и эгоцентризм в простодушном выявлении по-своему любопытен. «Я — та женщина, которую ждало много поколений мужчин, — пишет она. — Я создана, чтобы быть прекрасной, чтобы всех губить и самой погиб-нуть...»

Но когда принцип «ничего не скрываю» берет на воору-жение человек — скажем мягко — не слишком большого мас-штаба, страницы оказываются затопленными илом подроб-ностей, любопытных разве что дотошному психологу или даже психиатру. Замечательно, однако, что автор «Размышлений» фиксирует не только восторги, но и возражения, и иронию собеседников по отношению к ее собственным писаниям!

Забегая вперед, скажем о реакции окружения младшей Цветаевой на ее «писательство». Елена Оттобальдовна Воло-шина прочла подаренную ей книгу с нескрываемым раздра-жением; «она всех считает круглыми дураками, только себя гениальной!» — пишет Пра сыну. Давняя феодосийская



Сестры Цветаевы

приятельница Макса А.М. Петрова ему же жалуется: «Ну, осрамила, ну, скомпрометировала!» — в связи с тем, что на экземпляре, ей подаренном, Ася вывела: «В память наших бесед»... Но вот в воспоминаниях Евгении Герцык, дружившей с Шестовым и Бердяевым, автор «Королевских размышлений» спокойно назван «молодым философом». И неизменно мягкий Волошин сообщает матери, что Бердяев и сестры Герцык находят книгу Анастасии... талантливой!

На одном из приемов в доме Жуковских — Герцыков Лев Шестов знакомится с Анастасией. Евгения Герцык подводит молодую женщину к пожилому бородатому человеку с печальными глазами и говорит ему о только что законченной ею книге атеистических «Размышлений».

— Асе очень важно, чтобы вы ее прочли, Лев Исаакович... Шестов попросил прислать ему рукопись.

Анастасия не медлила. Не прошло и двух-трех дней, как философ позвонил ей по телефону и сказал, что сам приедет к Асе с рукописью. «С забившимся сердцем я вспомнила, — пишет в поздних своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева (не догадываясь и в старости, каким саморазоблачением это звучит!), — как заспешил к Достоевскому Григорович, прочтя его “Бедных людей”»...

Разговора с Шестовым ее память не сохранила. Запомнилось лишь, что пятидесятилетний философ был очень доброжелателен, терпеливо говорил с ней, но, среди прочего, сказал все-таки самовлюбленной девчонке, что книгу она должна была бы назвать иначе: «Размышлениями королевского пажа». Тем не менее он предложил свою помощь в виде рекомендательного письма в любой толстый журнал! Но Анастасия отказалась:

— Спасибо. Я хотела бы войти в литературу самостоятельно...

Зачем, в самом деле, рекомендательные письма, если издать книгу тогда — при некоторых средствах — проще простого!

И вот в начале 1915 года Ася уже ездит к цензору выправлять слишком резкие выражения на темы «божественности». «Не допустит наш батюшка, — увещевал ее цензор, — книгу могут арестовать!» В конце концов он дал разрешение на издание, но, не скрывая, горевал «о такой умонаправленности дочери Ивана Владимировича».

Вернувшись из Крыма в Москву осенью 1914 года, младшая Цветаева записалась на лекции по древней и новой философии в только что открывшийся Университет Шанявского.

Сезон 1914 года в Коктебеле открыли приехавшие из Москвы в первых числах апреля Елена Оттобальдовна и Майя. Вскоре к ним присоединилась Ася Цветаева с сыном Андрюшей. Тихие дни Максимилиана Александровича на этом закончились; работать над книгой ему теперь почти не удавалось. «Майя собирается рыдать мне в жилет по 12 часов», — жалуется он в одном из писем. Правда, влюбленность Майи теперь переадресована другому лицу, но все равно — чей еще жилет так удобен для излияний?

На Пасху пешком приходят из Феодосии Марина с Сережей, потом компания направится на лошадях в Баран-Эме к художнику Латри, затем, забрав его, вернется обратно... «Словом, — пишет бедный Максимилиан Александрович, — кипение жизни июньское, несмотря на начало апреля...»

И он задумывает побег, о котором до поры до времени никому не говорит. Он хочет в середине лета удрать ото всех в Дорнах. То есть в Швейцарию, к Штейнеру и штейнерианцам, среди которых и его бывшая жена Маргарита Сабашникова и Андрей Белый с Асей Тургеневой. Волошину хочется вблизи почувствовать и понять эту антропософскую чару, под которую подпало столько замечательных русских людей. Правда, денег на поездку у него нет, но теплится надежда, что поможет мать.

Начатая книга о Сурикове не сдвигается с места, акварели не доставляют радости, Майя не дает проходу со своими причитаниями... И Макс все чаще взрывается по пустякам — особенно в разговорах с матерью, которая тоже в это лето крайне раздражена. Она не может понять «бездельничанья» сына и выговаривает ему при всех: взрослый человек, он обязан думать о заработке, их средства слишком скромны, чтобы позволять себе барскую лень! Макс отмалчивается и сдерживается из последних сил. Он понимает, что матери нелегко справиться с домашними хлопотами...

А съезд дачников продолжается — уезжают одни, приезжают другие. Приезжают художники Фальк, Кандауров с же-

ной, Юлия Оболенская; приезжает веселый и общительный немец — Форрегер фон Грейфентурн, превосходно пародирующий Северянина и готовый часами слушать стихи Марины Цветаевой...

Она тоже уже здесь — муж привез ее вместе с маленькой Алей и нянькой, а сам уехал в Москву сдавать экзамены в университет. Приезжает и Алексей Толстой с Софьей Дымшиц. Их все зовут здесь Артамошкой и Епифашкой, — впрочем, тут все имеют озорные прозвища.

Однажды фантазер и весельчак Толстой тащит всех вечером на берег моря. Глядя на солнце, опускающееся за зубцы Сюрю-Кая, он торжественно и зловеще пророчит:

— Представим себе, что мы — последние люди на земле. Сейчас наступит конец света. Еще немного, и вы увидите последний восход луны... А потом наступит вечная мгла... Вечная ночь...

В тон этим мрачным провозвещениям кто-то читает Феогнида:

Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться
И никогда не видеть зоркого солнца лучей...

Наконец, в один из июньских дней происходит взрыв. Пришел податный инспектор, Волошин неумело вел с ним какие-то переговоры. С его уходом Пра не выдержала и осыпала сына упреками. Волошин стоял молча, но без всякого видимого раскаяния, скрестив руки на груди. Когда Елена Оттобальдовна умолкла, он сказал ей о своем намерении уехать в Швейцарию.

— Незачем ехать! — отрезала Пра с негодованием. — И не дам тебе никаких денег, не жди!

Она и еще сказала что-то сгоряча о деньгах, чуть ли не о нахлебничестве сына, — так что и год и полтора года спустя Волошин будет отказываться принимать от матери помощь, даже на возвращение в Россию, как ни молит его потом об этом в письмах гордая, мучающаяся и бесконечно одинокая Елена Оттобальдовна.

Максимилиан Александрович быстро собирается в дорогу. Он хочет проститься по-доброму, говорит, что будет писать, пытается поцеловать мать на прощанье, но у несчастной

Пра так разрывается сердце, что она кричит, почти отталкивая сына:

— Не хочу! Ничего мне не нужно — ни поцелуев твоих, ни писем! И не пиши мне!

Так они и расстались — как оказалось, на два года.

Недели через две уехали из Коктебеля и сестры Цветаевы с детьми. И тоже беспокойно, — не такое это было лето! — а после шумной и оскорбительной ссоры с племянником Алексея Толстого. При Волошине такого никогда не могло бы произойти, но теперь все шло по другим законам.

Марина помогает сестре устроиться с сыном неподалеку от Коктебеля — в Отузах — и уезжает с дочерью и няней в Москву.

Начало войны они встретили с Асей порознь...

Глава 12

ТЕАТРАЛЬНЫЙ «ОБОРМОТНИК»

С началом первой мировой войны, считал Бердяев, окончательно завершился век девятнадцатый и начался двадцатый. Тот самый, который в предсказаниях средневекового астролога Агриппы Неттестеймского обозначен был страшным знаком владычества Офиеля: людей, сведущих в чернокнижии, охватывал ужас в ожидании неотвратимой череды бед. Пророчество, увы, исполнилось...

Осенью 1914 года Сергей — уже студент филологического факультета Московского университета. Молодая семья живет теперь в квартире на втором этаже дома № 6 по Борисоглебскому переулку. Наверное, не случайно неподалеку, на Малой Молчановке, 8, в доме с двумя изящно небольшими львами по обе стороны тяжелой парадной двери, оказался и «обормотник», в третий раз сменивший адрес. Он сохранил прежний костяк своих жильцов (сестры Эфрон и Елена Оттобальдовна) и широкий круг друзей.

Сергей и Марина заходят сюда чуть не каждый день. Здесь любят слушать, как она читает свои стихи. Но кроме того, она замечательно рассказывает о своей маленькой дочери, воспроизводя смешные и трогательные их беседы и споры. Это оказалось настолько заразительно, что на какое-то время все увлеклись подслушиванием детских разговоров и весело пересказывали их потом за вечерним столом.

Естественно, друзья «обормотника» — это друзья и Марины с Сережей. Между тем содружество расширяется. В одной из комнат поселяется молодой профессор истории искусств Борис Грифцов; к тому времени он уже автор получившей признание работы «Три мыслителя» — о Бердяеве, Шестове и Ро-

занове. Следом за Вячеславом Ивановым и Алексеем Толстым Бердяев и Шестов перебрались в эти годы из Петербурга в Москву. И с обитателями «обормотника» у всех у них — в той или иной степени — самые теплые дружеские связи.

В общий круг «обормотника» вливаются и молодые актеры открывшегося Камерного театра А. Я. Таирова, и художники — Фальк, Бруни, Лентулов, Сарьян, Добужинский, Кругликова, Ларионов, Гончарова... Квартирка совсем небольшая, но гости не переводятся. «Маленькая комнатка при кухне, — вспоминала Мария Кузнецова, — это наша столовая и гостиная, куда вечером, постепенно, один за другим, собирались мы после работы. Кто-нибудь из друзей уже ждал нас тут. Наши друзья приводили с собой своих друзей, и каким-то чудом мы все усаживались за одним узким, длинным столом. С одной стороны — вдоль стола — служил диваном огромный сундук... С другой — стулья, табуретка и старое уютное кресло для нашей любимой Пра. На столе всегда стояло огромное блюдо с винегретом. Раздавались новые звонки, приходили старые и новые друзья, и чаще всех приходили Марина с Сережей. Бывали у нас поэты, актеры, музыканты, художники. Всегда не хватало стульев. Мы бежали за ними в свои комнаты, боясь пропустить чью-нибудь интересную новость или остроумную шутку. Володя Соколов, тоже актер Камерного театра... своим неисчерпаемым юмором доводил всех до упаду, до изнеможенья <...> Пра в своем уютном кресле, покуривая тонкую папиросу, слушая, улыбалась, а часто, услышав удачную остроуту, тоже громко, по-молодому хохотала, откинув назад седую голову, подстриженную в скобку. Я помню, как меня охватил однажды ужас от бессилия, от полной невозможности остановить свой смех...

В этом же доме, на шестом этаже, снимал квартиру Алексей Толстой. Он приходил всегда «на минутку», быстро заразился общим весельем, начинал удачно каламбурить, всегда по-своему озоровать, забывая, зачем пришел. И вдруг спохватывался: «А ну вас! Меня работа ждет!» И тут же убегал. Звали мы его Алехан...»

Есть, впрочем, у этого сообщества и недоброжелатели; иначе, наверное, и не бывает. Писательница Хин-Гольдовская, мать Михаила Фельдштейна (в недалеком будущем ставшего мужем Веры Эфрон), записывает в эти годы в своем

дневнике: «В Обормотнике выбросили за борт все «условности», то есть всякий порядок — всякую дисциплину. Но, как и во всякой коммуне, там создан свой устав — в корне фальшивый и карикатурный. Взаимные восторги красотой, свободой и «лирической насыщенностью» каждого момента. Все любят друг другом, собой, все на “ты”...»

Открытие Камерного театра, преобразованного Таировым из «синтетического» Свободного театра, состоялось 12 декабря 1914 года и стало событием в культурной жизни Москвы. «В наши дни, — писал Николай Евреинов в книге «Театр для себя», вышедшей в 1915 году, — театр занял исключительное положение среди других видов искусств».

Рождению Камерного театра энергично способствовали литераторы. Брюсов помог молодой студии получить субсидию от Литературно-Художественного кружка, Бальмонт перевел специально для открытия театрального сезона древнюю индийскую «Сакунталу», горячо поддержали Таирова Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Балтрушайтис, Сологуб. Охотно работали для театра художники — Павел Кузнецов, Судейкин, Гончарова; «здесь они могли пробовать то, что им не было позволено на маститых сценах», — писала в своих воспоминаниях Алиса Коонен, бессменная премьерша Камерного театра. Театральная жизнь кипит и в диспутах, чествованиях, обсуждениях, — и всегда все проходит необычайно оживленно.

В первом же спектакле получила свою роль Вера Эфрон...

Увлечение «обормотов» театром оказалось стойким. Через год, в декабре 1915 года, и Сергею Эфрону дадут возможность проверить в Камерном театре свои актерские способности. Он сыграет там несколько маленьких ролей. Актерские данные у него были безусловно, но подвела смешливость: однажды на сцене он в самый неподходящий момент расхохотался и чуть было не сорвал спектакль. На том его театральная карьера и закончилась...

Несколько забегаая вперед, воспользуемся воспоминаниями Николая Еленева. Они приоткрывают занавес над одним прелестным вечером театральной Москвы военных лет.

Александр Яковлевич Таиров время от времени устраивал закрытые вечера для друзей театра. В 1916 году в спектакле «Сирано де Бержерак» в театральную труппу вошел знамени-

тый драматический актер Мариус Мариусович Петипа, сын еще более знаменитого балетмейстера, и очередная вечеринка была устроена в его честь. Семидесятилетний Петипа, подтянутый и ироничный, держался великолепно и скороговоркой рассыпал остроты направо и налево. Артисты и приглашенные друзья театра сидели на сцене за столиками, а внизу зиял пустотой неосвещенный зал — настоящая пещера ночи. Царила легкая веселая беседа, шутки, флирт, еле ощутимый аромат духов наполнял воздух...

Молодую Марину Цветаеву — ей в ту пору еще не исполнилось и двадцати четырех лет — окружали мужчины в черных смокингах. Среди них был и ее муж, Сергей Эфрон; у молодых супругов здесь немало друзей среди актеров...

Облик Марины напомнил тогда Николаю Еленеву пажа на ватиканской фреске: русые легкие волосы коротко подстрижены в скобку, четкие очертания тонкого носа, на лице печать одухотворенности.

И вот — торжественные речи-поздравления уже произнесены, и хозяин праздника, облаченный в визитку, подходит к столику Цветаевой. Он о чем-то перешептывается с ней. А затем громко требует внимания гостей.

Он объявляет, что Марина Цветаева желает прочесть экспромт, написанный в честь Мариуса Мариусовича.

Шум голосов сразу утихает. Таиров занимает место за столиком Петипа и отчеканивает:

— Марина Ивановна, мы вас слушаем!

Весело, задорно поднимается из-за стола Цветаева. Взглянув на Петипа и тряхнув пушистой головой, ровным, слегка насмешливым голосом она произносит стихи. Обращаясь к герою вечера на «ты», она бросает ему горделиво-игривый вызов и предлагает ему — рыцарю чести и шпаги — свое сердце и жизнь. Но ее сердце не служит прихоти! Ему нужен встречный обет: дар за дар, верность за верность, — и смерть за вероломство!

То был сонет, в котором слились воедино мастерство, точный расчет и жаркое чувство. Поэтические архаизмы стихотворения отсылали слушателей к эпохе Людовика XIV — и к роли Сирано, только что столь блестяще сыгранной чествуемым мастером. «Никогда, ни раньше, ни позже, я не слышал столь откровенной эротики, — вспоминал Еленев. — Но уди-

вительно было то, что эротическая тема была студена, целомудренна, лишена какого бы то ни было соблазна или чувственности... едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом, уничтожал его любовный смысл.

Счастливая, юношески гордая Марина торжествовала. Тешили ли ее аплодисменты? Ни в коем случае. Она, можно быть уверенным, их не слышала. Позже, в беженстве, встречаясь с Цветаевой в течение нескольких лет чуть ли не ежедневно, я убедился, что единственной страстью... у Марины была любовь к слову и его тайне... Она не ждала ни мзды славы, ни мзды почета или материальной награды. Божьей милостью творец, самый бескорыстный художник — такова была Марина...»

Петипа принял вызов. Встав с места и отвесив глубокий учтивый поклон, он отвечал... тоже в стихах! Он посвящал своей даме шпагу — шпагу Сирано — и заверял в вечной преданности — в счастье и в беде. Поддерживая игривую ноту шуток, позируя и явно любуясь собой, актер вдохновенно играл в изысканно маскарадной тональности.

Было ли все это хорошо подготовленной режиссурой Таирова — или и в самом деле экспромтом? Присутствующие могли об этом только догадываться...

Между тем шла война. Патриотический энтузиазм, охвативший русское общество в первые ее месяцы, отражен во множестве мемуаров. Уличные манифестации, митинги, пение «Боже, царя храни!» возникали всюду, где только появлялась к тому возможность; выкрики: «Ура русской армии!» — неслись по адресу чуть не каждого проходящего по улице запасного солдата... Если кто-то и не разделял общего одушевления, припахивавшего истерией, вслух не высказывался — слишком было некстати...

Спустя всего несколько дней после объявления Германией войны в московском Литературно-Художественном кружке торжественно чествовали Валерия Брюсова, уезжавшего на войну в качестве корреспондента «Русских ведомостей».

— Забудьте обо мне, — скромно говорил мэтр русского модернизма в благоговейно притихший зал, — я еду простым чернорабочим... Славянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, свободу народов...



1913

Следом за Брюсовым корреспондентом тех же «Русских ведомостей» отправился на войну и Алексей Толстой. И уже с августа в газете регулярно появляются патриотические статьи того и другого. Не прошло и месяца после начала военных действий, а Брюсов, подытоживая события, которые как будто никак в такой итог не укладывались, уверенно сообщал читателю, что военная мощь Германии подорвана и осталось сделать несколько усилий, чтобы ее добить. В оптимизме Брюсов отнюдь не одинок. В октябре 1914 года Федор Сологуб тоже убежденно пророчествует:

Прежде чем весна откроет
Ложе влажное долин,
Будет нашими войсками
Взят заносчивый Берлин!

Но и не перед публикой, а в частном письме Леонид Андреев признается: «Настроение чудесное, — истинно воскрес, как Лазарь... Подъем действительно огромный, высокий и небывалый: все горды тем, что русские...»

Изредка звучат, правда, и другие голоса. «Война — это начало конца или, вернее, начало всех концов...» — далеко-видно оценивает происходящее Дмитрий Мережковский в газете «Русское слово». Предостерегает от опасностей шовинистического угара и Николай Бердяев, уничижительно отзываясь о разговорах про «возрождение русского духа».

1 декабря 1914 года Марина пишет в стихотворении «Германии»:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь!» —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где всё еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант...

Идут военные действия, но, по Цветаевой, это всего лишь царские и кайзеровские счета друг с другом; для Марины Германия остается страной Гёте и Канта, Фауста и Лорелей. Горячность ее признаний в немалой степени подогрета проклятиями, которые она слышит со всех сторон. Страстей толпы она сторонится; всегда, всю жизнь они будут ей подозрительны — если звучат слишком единодушно. Даже в детстве, в сказке о волке и ягненке, она больше жалела волка, потому что ягненка жалели все...

Как изменилась ее интонация! Как отлично она владеет ритмом, энергетикой поэтической речи! Ни следа расслабленности, портившей многие стихи «Вечернего альбома»!

Но пафос стихотворения осудило все ближайшее цветаевское окружение. Елена Оттобальдовна радостно переживает оптимистические военные прогнозы, восторгается деловитостью и энергичностью Алехана (Алексея Толстого), прощая ему все его легкомыслие за то, что он не только пишет свои военные корреспонденции, но и принимает участие в формировании санитарных поездов, курсирующих по Варшавской дороге.

Только через год, зимой 1915—1916 года, когда от патриотического безумия осени 1914-го не останется и следа, Марина сможет прочесть свою «Германию» публично — в одном из литературных домов Петербурга. И прочесть уже с триумфом! Но это случится позже, а тогда из друзей Марины не осудил бы «Германии» только Волошин.

Еще до начала военных действий, летом 1914 года, он пересек российскую границу. Некоторое время жил в Швейцарии, в Дорнахе, ставшем центром антропософов, собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера; потом уехал во Францию, в Париж. Максимилиан Александрович и Марина далеко друг от друга, но их реакция на события войны во всяком случае родственна. «Я совсем не верю ни в освободительный, ни в очистительный смысл войны, — писал Волошин матери, — просто несколько осьминогов (промышленности) селятся пожрать друг друга... Идут на войну и мученики, и святые. Но для того, чтобы стать желудочным соком в пищеварении осьминога... Французы и англичане не лучше немцев». Он подготовит целый сборник антивоенных стихов «Anno mundi ardentis 1915», но ни в редакции «Аполлона», ни в редакции

«Русской мысли» не найдет поддержки и в ближайшие месяцы не сможет опубликовать в России ни одного антивоенного стихотворения. «Я этого и ожидал...» — признавался Максимилиан Александрович в письме к матери. Его книга замечательных статей о литературе и искусстве «Лики творчества» вышла в неудачнейшее время — в самый канун войны; естественно, что на фоне развернувшихся событий книга прошла почти незамеченной; откликнулась только одна газета.

«Я неуютен в литературе», — с горечью констатировал Волошин.

При всем своем увлечении театром Вера Эфрон вместе с ближайшими подругами считает велением времени оставить актерские амбиции до лучших времен. Она отправляется на курсы медицинских сестер, работает в московских лазаретах и вскоре начинает хлопоты об устройстве на работу в санитарный поезд, который курсирует между Белостоком и Москвой, эвакуируя раненых.

Хлопоты увенчиваются успехом. Теперь она приезжает в «обормотник» лишь на побывку между рейсами поезда — в смазных сапогах и кожаной куртке. Она заведует хозяйственной частью поезда, бодра и полна энергии.

Глядя на нее, Сергей Эфрон мучится совестью и жаждет разделить ее участь. Однако он уже учится в университете. И все же уйдет в санитарный поезд братом милосердия в марте 1915-го, вместе с Асей Жуковской, с которой он давно дружен. Марина провожала мужа на вокзале.

Работа в санитарном поезде займет несколько месяцев. Временами Сергей испытывает от нее подъем, временами — бесконечную усталость, но чаще всего терзается, считая, что место его — среди солдат и офицеров, а не среди всех этих «дармоедов», как он называет своих коллег, братьев милосердия. «Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти», — пишет он 14 июня 1915 года в письме к сестре Лиле.

К концу июля того же года Эфрон оставляет службу в поезде. Как и его сестра Вера.

Глава 13

ПОДРУГА

Еще с октября 1914 года в жизнь Марины властно вошла необычная женщина, решительно непохожая на всех других, раньше и позже ей встречавшихся. То была яркая и самобытная Софья Парнок, выросшая со временем в первоклассного поэта (сборники «Лоза», «Вполголоса»). Встреча с ней до глубины души потрясла воображение Марины, уже тогда превыше всего ценившей незаурядную и независимую личность. Познакомившийся с Софьей Яковлевной позже в Крыму, Волошин именно ей поручил вести свои литературные дела в Москве, а кроме того, замечательно написал о ее поэтическом таланте в статье «Голоса поэтов».

Тридцатилетняя Софья Парнок не скрывала своей принадлежности к «меньшинству» (как говорят нынче). Но, скорее всего, к моменту знакомства Марина о том не знала; в пользу этого предположения свидетельствует второе стихотворение из созданного в 1914–1915 годах поэтического цикла; обратим внимание на характерную подробность: в 1920 году при подготовке к первой публикации цикл был назван автором «Ошибка» — и только в 1940 году переименован в спокойное «Подруга».

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? — Чья победа —
Кто побежден?

Всё передумываю снова.
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Кто был охотник? Кто — добыча?
Всё дьявольски-наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?

В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце — Ваше ли, мое ли —
Летело вскачь?

И все-таки — что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
— Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

Первоначальное смущение, бесхитростно отраженное в стихотворении, было преодолено; Марина приняла подругу такой, какой она оказалась. Безоглядная щедрость ее сердца («Пол-жизни? — Всю тебе!/ По-локоть? - Вот она!») справи-лась с шоком.

Тем более что потрясение оказалось взаимным. В сонете самой Парнок читаем:

Гляжу на пепел и огонь кудрей,
На руки, королевских рук щедрей,—
И красок нету на моей палитре!

Ты, проходящая к своей судьбе!
Где всходит солнце, равное тебе?
Где Гёте твой и где твой Лже-Димитрий?

Существенный блик бросает на саму возможность этой любви атмосфера предвоенной России.

Не случайно часть российской интеллигенции восприняла начало военных действий осенью 1914 года как «очищающую бурю». Понятие греховного в начале десятых годов крайне ослаблено, его границы — смещены. То было время, когда, по характеристике Федора Степуна, девицы скрывали свою невинность, а замужние дамы — верность мужьям. Когда «этика, ради индивидуализма, испытывала с опасностью для жизни крайние пределы своей растяжимости», — автор этого утверждения Вячеслав Иванов. Строка Ахматовой «Все мы



Софья Парнок

бражники здесь, блудницы...» — датирована 1913 годом. Но и осенью 1914-го еще не отзвучали недавние громкие споры вокруг «святой плоти» и «дионисийски-оргиастической стихии», — и в спорах участвовали самые авторитетные фигуры русского художественного Олимпа! Широчайшую популярность имели романы Нагродской и Вербицкой с их излюбленной героиней — раскрепощенной женщиной, которая пренебрегает всеми условностями, стремится к независимости и не желает связывать себя брачными узами. Стилистика этих романов сегодня годилась бы разве что для газетного фельетона, но в те годы не только курсистки ими зачитывались! Все это, по крайней мере, помогает понять, почему разразившаяся война многими чуть ли не приветствуется. По мнению Алексея Толстого, она «сыграет роль второго крещения Руси»; на «возрождение русского духа» с началом военных действий уповал и Василий Розанов. «И пусть из огненной купели/ Преображенным выйдет мир!» — такие строки публиковал в журнале «Русская мысль» Валерий Брюсов...

После того как в 1983 году в Соединенных Штатах появилась книга, посвященная этому эпизоду цветаевской биографии («[Не]закатные оны дни» С. В. Поляковой), более десятка доброхотов по обе стороны океана бросились на тему с энтузиазмом, характеризующим и их авторов, и время, столь охочее до «клубнички». Дело усугубилось почти нескрываемой неприязнью Поляковой к Марине Цветаевой. Под воздействием этой неприязни она прибегла в своей работе и к натяжкам, и к умолчаниям, и к сомнительной аргументации, проложив дорогу невероятному изобилию домыслов. Новых фактов ни у кого не нашлось, им и неоткуда было быть, но... кроме Парнок, теперь уже называют еще и еще женские имена; клубок по сей день продолжает раскручиваться — на потребу всем, кто рад случаю вытащить на свет божий недавно запретную тему.

Отношения подруг растянулись почти на полтора года. Марина, тем не менее, не ушла из семьи: Сергей оставался для нее человеком, с которым она не просто считалась, но ощущала себя сердечно связанной на всю жизнь. Попервоначально Эфрон шутил, что охотно вызвал бы Парнок на дуэль за

ее отношение к Марине, не будь она женщиной. Позже шутить он уже перестал.

Цикл «Ошибка» добросовестнее любых комментаторов свидетельствует о том, насколько непросто было для Цветаевой происходящее; что, помимо восхищения, ее не оставляло ни на минуту *сострадание* к «трагической леди», как названа была Софья Парнок в первом же стихотворении цикла.

Резкий кризис отношений обозначен в цветаевских стихах конца апреля — начала мая 1915 года. Читатель найдет здесь немало открыто бунтующих строк: «Зачем тебе, зачем/ Моя душа спартанского ребенка?», «Этот рот до поцелуя / Твоего был юн!», «Но твоя душа мне стала / Поперек души!» и даже: «Счастлив, кто тебя не встретил/ На своем пути!». Наконец, прямой взрыв в последнем стихотворении цикла:

Вспомните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе! — Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы...

Разлюбите меня, — все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

Однако окончен был цикл, но еще несколько месяцев теплилась сердечная привязанность...

Первой Марина никогда не уходит. Окончательный разрыв между подругами произойдет только во время их совместной поездки в Петроград зимой 1915—1916 года, — и по инициативе Парнок. Вспоминая об этом позже, Цветаева назовет переживания тех дней своей первой жизненной катастрофой. Еще до того, летом, в письме к Лиле Эфрон, Марина признавалась: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день (Эфрон в эти месяцы еще в санитарном поезде. — *И.К.*), он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь. Соня — меня очень любит, и я ее люблю — и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце всё совмещает».

Замечательный штрих: в дни кризиса в отношениях между

подругами, весной 1915 года, Сергей той же Лиле пишет письмо. Он просит сестру проследить за устройством дочери Али в Коктебеле, помочь Марине найти хорошую няню, потому что сама Марина, как он пишет, «в этом ничего не понимает». И здесь же: «Для Марины, я это знаю очень хорошо, Аля единственная настоящая радость... Только будь с Мариной поосторожней — она совсем больна сейчас...»

Сергей заботлив и нежен несмотря ни на что...

Переписки Цветаевой и Парнок не сохранилось; совсем мало подробностей оставили записи самой Марины об этой дружбе-любви. Вот почему об этом важном эпизоде биографии Цветаевой не удастся рассказать обстоятельнее. Не существует никаких серьезных оснований считать озлобленным отношение Марины к Парнок после их разрыва — об этом достаточно свидетельствует цветаевское стихотворение 1916 года «В оны дни...» с этими нежными строками: «Не смущать тебя пришла, прощай, Только платья поцелую край...» Цветаевой придется еще не однажды расставаться с любимыми, но *это* расставание выделяется среди других. Цветаева не разочаровалась в Парнок так, как чаще всего она разочаровывалась в любовных отношениях с мужчинами, когда она вдруг ощущала их «потолок», «стену». Она не усомнилась ни в способности к любви, ни в человеческих достоинствах подруги. В случае с Парнок было иное, а может быть, и целый букет иного...

Уже в начале 30-х годов Цветаева написала «Письмо к Амазонке», адресованное писательнице Натали Клиффорд Барни, американке, жившей долгие годы в Париже. «Письмо» осталось неопубликованным, хотя предназначалось, видимо, к публикации. Внешне оно было откликом на книгу Барни «Мысли об амазонке». Но более реальным поводом создания «Письма» можно считать известие о смерти Софии Парнок, умершей в России в 1932 году. Письмо предоставляет возможность узнать, что называется из первых рук, мысли Цветаевой о любви двух женщин друг к другу, — хотя и это нелегко из-за цветаевской не слишком прозрачной стилистики.

Читатель найдет здесь дифирамбы дарам, отпущенным природой женщине: таланту любви, нежной и глубокой натуре, редкостно способной к пониманию другого человека...

Что происходит с той, которая вдруг «сбивается с пути»? —

размышляет здесь Цветаева. Ее ответ: «это сети души».

«Попадая в объятия старшей подруги, она попадает не в сети природы, не в сети возлюбленной, которую слишком часто считают оболъстительницей, охотницей, хищницей и даже вампиром, тогда как почти всегда она — лишь горестное и благородное существо...» Настоящая трагедия такой связи заключена, по Цветаевой, прежде всего в том, что она исключает рождение ребенка.

Ребенок! Это самая неожиданная тема в «Письме», центральная тема, в очередной раз обнаруживающая в Цветаевой сильнейшее материнское начало, которое всегда присутствует в ее любовном чувстве — как и в любовных стихах! Поначалу кажется, что она говорит тут не о себе — ведь уже существовала на свете ее горячо любимая Аля-Ариадна! Но Цветаева говорит не о ребенке вообще, а о ребенке от любимого человека! «Маленькая ты» или «маленький ты» — вот, утверждает она, сильнейшая тоска любящего сердца...

Прочтем еще несколько строк из этого позднего комментария к цветаевской дружбе-любви 1915 года. Младшая подруга растается со старшей, которую отныне она будет называть «ошибкой молодости». «Неблагодарная, как все, кто больше не любит, несправедливая, как все, кто продолжает любить», младшая уходит вовсе не потому, что люди скажут; «что бы люди ни сказали, они всегда скажут дурное, что бы ни видели — увидят дурное». И не потому, что Бог осудит: «до плотской любви, — пишет Цветаева, — ему вообще нет дела <...> нет дела до всех этих напастей, он может разве что излечить нас от них». Ни церковь, ни государство, «благословляющие убийство тысяч людей», тут также не имеют права на суждение. Одно имеет право, по Цветаевой: природа. «Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя».

Приведем, наконец, последнюю цитату из этого удивительного документа. Теперь речь идет о той, что вернулась к мужчине. «Если мужчина умен, — пишет автор «Письма», — он не обнимет ее сразу же, он подождет — прежде чем обнять, — пока другая не уйдет — окончательно».

Ирина — вторая дочь Цветаевой и Эфрона — родилась в апреле 1917 года.

Глава 14

ПОЕЗДКА В ПЕТРОГРАД. МАНДЕЛЬШТАМ

Поездка в Петроград по приглашению Сакера и Чацкиной, издателей журнала «Северные записки», имела и свои радостные стороны. На литературных сборищах (об одном из которых позже Цветаева рассказала в прозе «Нездешний вечер») она встречалась с Кузминым, Мандельштамом, Есениным, Георгием Ивановым, Рюриком Ивневым, Оцупом, подружилась с семьей Канегиссеров — и с заметным успехом читала свои стихи последнего года. Слушателями были теперь уже не простодушно-доброжелательные феодосийцы, а искушенная, забалованная отличной поэзией петербургская литературная публика. Впервые Марина так остро ощущает свою «московскость», — в частности, и свой московский говор, на который все так обращают внимание, что ей хочется нарочно усиливать его особенности.

Увы, на этих встречах был не «весь Петербург» — здесь не было Блока и Ахматовой. Ахматова была в отъезде, Блок редко посещал публичные вечера. Между тем Марина чувствует, что ее постоянно сравнивают с петербургской любимицей, львицей и гордостью — Анной Ахматовой. «Всем своим существом чую напряженное — неизбежное — при каждой моей строке — сравнение нас (а в ком и — стравливание)... Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а — к Ахматовой... И если я в данную минуту хочу явить собой Москву — лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург — победить, а для того, чтобы эту Москву — Петербургу — подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой — поклонить...»

Так возникает дух соперничества двух поэтесс — вовсе не у них самих, а среди поклонников и ценителей. Впрочем, в ту пору вопроса — кто лучше — всерьез и стоять не могло. Ахматова в литературных и читательских кругах уже завоевала прочное признание и любовь, даром что ее первый поэтический сборник «Вечер» появился на год позже первого цветаевского. Изящная книжечка содержала всего сорок шесть тщательно отобранных стихотворений; стихи предваряло вступительное слово Михаила Кузмина; книжку читатели уже ждали — почти треть стихотворений была ранее опубликована на страницах периодических журналов. Вращавшаяся в избранном литературном кругу Ахматова, жена поэта Николая Гумилева, ко времени выхода в свет первой своей книги стихов — уже среди основателей нового литературного направления, назвавшего себя «акмеизмом». А в марте 1914 года появился уже и второй ее поэтический сборник — «Четки». Критические отклики на него были неоднозначны; отмечая «настоящий поэтический талант» Ахматовой, рецензенты выражали вместе с тем надежду, что поэтесса в дальнейшем развитии не останется «в душном и чадном» кругу камерности, а выйдет «на широкий жизненный простор» (Иванов-Разумник). Однако именно «Четки» принесли их автору всероссийскую известность. С 1914-го по 1923 год они выдержали четырнадцать изданий!

Что до Марины Цветаевой, то во мнении литературных ценителей она только-только вставала на ноги. Стихи она пишет непрерывно, но кто же это знает и кто их читает? В журналах она не публикуется; правда, в начале 1912 года (на месяц раньше первой книги Ахматовой) вышел в свет уже второй ее сборник — «Волшебный фонарь». Но в нем снова больше ста стихотворений (то есть нет отбора!), и многие стихи там — из гимназического запаса...

Лишь незадолго до приезда в Петроград, по настоянию Софьи Парнок, Цветаева отдала-таки в журнал «Северные записки» несколько своих стихотворений.

Такая ситуация сохранится до самого отъезда Марины за границу весной 1922 года: окруженная восхищением и легендами Ахматова — и Цветаева, затерянная где-то в Москве...

Вернувшись из Петрограда, Марина создаст целый цикл стихов, посвященных своей талантливой современнице. Она

назовет ее здесь с присущей ей щедростью и «Царскосельской Музой», и «Музой плача», и даже «Анной всяя Руси». А спустя пять лет проставит посвящение Ахматовой на поэме, которой очень дорожит, — «На красном коне». И при каждом удобном случае будет пересылать петербургской сопернице письма, стихи и подарки, — получая в ответ почти небрежные записочки.

Увидятся они только через четверть века — совсем в другой жизни...

С Осипом Мандельштамом Цветаева впервые столкнулась в Коктебеле прошлым летом. То была совсем мимолетная встреча: «Я шла к морю, он с моря. В калитке волошинского сада — разминулись...» Теперь, в Петрограде, Осип Эмильевич разглядел Марину, услышал — и влюбился не на шутку. Увы, нет достоверных источников, из которых мы могли бы узнать подробности их романа. Между тем этот короткий роман оставил след в творчестве того и другого: одиннадцать (Марина неизменно щедра) стихотворений Цветаевой и три Мандельштама. Эти три, в сравнении с цветаевскими, будто замороженные, «игровые»; впрочем, это было связано не с отношениями, а с особенностями мандельштамовской поэзии. Надежда Мандельштам в своих мемуарах настаивает на том, что под влиянием Марины (с ее «сногшибательным своенравием») изменился поэтический голос Мандельштама, его стилистика, и вообще «дикая и яркая» Марина, «подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала» Осипа Эмильевича, «расковала в нем его жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви». Бог весть, насколько это так; Надежда Мандельштам — крайне субъективный автор...

Мандельштам был тогда в прекрасной поре своей жизни. В январе 1916 года ему исполнилось двадцать пять лет. Первый его поэтический сборник вышел три года назад, но совсем недавно появилось расширенное издание того же «Камня». Тщательно составленный, «Камень» опять-таки несравним по зрелости с пухлой полудетской первой книгой Цветаевой. Ученических интонаций у Осипа Эмильевича, кажется, вообще никогда не было — сдержанность, собранность присущи ему с первых же шагов в литературе. Другое дело — в повседневном быту: тут ребяческое и нелепое зачастую выхо-



Осип Мандельштам

дило на первый план. Он горделиво держался на солидных литературных сборищах: с закинутой назад головой, весь самодостаточный и неприступный. «У Мандельштама глаза всегда опущены, — вспоминала Цветаева много лет спустя, — робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша — ему: “Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?..”»

Может быть, они вместе и уехали из Петрограда в Москву, кто знает? Доказательств тому нет. 17 января рукой Марины по-французски надписана в Петрограде книжка, подаренная Лулу, сестре Леонида Канегиссера. Надпись более чем знаменательна; это строчки из Мюссе, и вот перевод: «После того, как уже любил, надо любить еще, надо любить, не переставая, после того, как уже любил...»

А 25 января Осип Эмильевич уже возникает в письме Елены Оттобальдовны сыну, из Москвы — в Париж: «Пришли Магда, Юлия, затем Марина, Сережа и Мандельштам... Он до изнеможения декламировал, болтал, смеялся... Я опять заснула в 4-м часу ночи...»

Через день-другой, сообщает та же Пра, все молодые были на очередном поэтическом вечере в доме у Вячеслава Иванова на Зубовском бульваре. Окончательно перебравшийся из Петербурга в Москву, мэтр и здесь время от времени устраивал нечто вроде поэтических турниров, происходивших некогда в северной столице на знаменитой его «башне» у Таврического сада.

Сведения об одном из таких вечеров (февральском, 1915 года, в письмах все той же Пра!) касаются Марины. Тогда, правда, вечер состоялся в доме Жуковских в Кречетниковском переулке, — в связи с тем, что несколько недель там провел со сломанной ногой Николай Бердяев и друзья развлекали его как могли. Председательствовал на вечере Гершензон, но главным экзаменатором и судьей выступал постаревший и потускневший, но не утративший высоких амбиций Вячеслав Иванов. Приглашенные молодые поэты, среди которых были и Марина, и Софья Парнок, читали свои стихи. После выступления каждого Вячеслав — так это описано в очередном письме Пра сыну — «изрекал свое суждение-приговор, принимавшиеся всеми молча, без протеста». Суждения были безапелляционно строгими.



Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Коктебель, 1911

Осмелилась вступить в спор с прославленным мэтром только Марина.

Видимо, отзыв Иванова на ее стихи был кислотоватым. Выслушав, Марина тут же решительно и надменно возразила. Ее совершенно не удивляет, сказала она, что ее стихи непонятны Вячеславу, — совершенно так же, как и ей непонятна его поэзия. При этом ей абсолютно безразлично, нравятся Вячеславу ее стихи или нет. Вот если бы Блок не принял и не понял духа ее поэзии, — это совсем не было бы ей безразлично! И даже было бы больно и огорчительно. «Вячеслав, — продолжает свой отчет сыну Елена Оттобальдовна, — по обыкновению ломался, говорил двусмысленные слова и больше всех хвалил Верховского, называя его мэтр *impressable**...»

Но то было почти год назад. Теперь, в 1916-м, сама Пра на вечеру не присутствовала, однако со слов Майи Кювилье все же сообщает сыну любопытные подробности. Молодые поэты в массе своей были «непривлекательны по манере держать себя», но между ними «выделялся гордой, полной достоинства осанкой — Мандельштам». Его стихи, похоже, удостоились похвалы. Жалко, добавляет Елена Оттобальдовна, что перед тем Майя «не видела его у нас в «обормотнике», когда он от декламации с гордым видом переходил к глупой болтовне, прерываемой неудержимым смехом до слез, так что закрывал лицо, вытирал глаза, опять болтал, опять смеялся, присаживаясь на корточки то передо мной, то перед Мариной, пока весь не выдохся от усталости и не полупростерся на плечах у Сережи...»

Стихи Марины, обращенные к Осипу, неизменно радостны, приподняты, жизнелюбивы, в них нет ни малейшей примеси трагического, скорее уж примесь нежного утешения:

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую Вас через сотни
Разъединяющих верст.

* безупречный (франц.).



**В квартире у Жуковских. У притолоки — Марина Цветаева,
во второй комнате — Н. А. Бердяев. Март 1915**

Я знаю: наш дар неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что Вам — молодой Державин
Мой невоспитанный стих!

В следующих строфах стихотворения неожиданно звучит пророчество:

На страшный полет крещу Вас:
— Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не шурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

Позже (в «Истории одного посвящения») Цветаева вспоминала, как в дни приездов Осипа она «дарила ему Москву»: «Из рук моих — нерукотворный град /Прими, мой странный, мой прекрасный брат». В этом «дарении» она была виртуозом; все знала: историю города, все адреса и легенды, и чуть ли не все стихи, о Москве написанные.

Их отношения не стали для Марины бедой — это видно прежде всего по ее поэтическим текстам. Наиболее бурный всплеск творчества — с середины марта: за месяц Марина напишет двадцать три стихотворения (они связаны, правда, не только с Мандельштамом)!

С февраля по июнь 1916 года Мандельштам курсирует между Петроградом и Москвой, находя себе разные оправдания. У него даже возникает идея обосноваться в Москве, для чего его друг, ученый-химик С.П.Каблуков, пишет, по просьбе поэта, письма: Вячеславу Иванову — с просьбой рекомендовать Мандельштама в сотрудники «Русской мысли», некоему Сегалову — с просьбой устроить Осипа Эмильевича переводчиком в университетскую библиотеку. В дневнике Каблукова этого времени отмечена почти комическая подробность: Осип Эмильевич советуется, нельзя ли ему спастись от «эротического безумия» принятием православия?..

А Цветаева назовет позже эти месяцы — с их внезапными «наездами» и «отъездами» — «своими» и «чудесными». Столь

же внезапен был и конец романа, когда летом, едва приехав к Марине в подмосковный Александров, Осип сорвался оттуда в Коктебель, — «где обрывается Россия над морем черным и глухим»...

Есть нечто неожиданное в стихах Марины к Мандельштаму: «На страшный полет крещу Вас...» А в стихах Мандельштама: «Не веря воскресенья чуду, / На кладбище гуляли мы...» Это важные знаки. Верили или не верили они в чудо воскресения, но на темы «божественные», похоже, говорили. К 1916 году Цветаева выздоравливает от атеизма, подтверждение тому — в ее поэзии этого года. В частности, в одном из стихотворений, обращенных к Анне Ахматовой:

Ты, в грозовой выси
Обретенный вновь!
Ты! Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне — вся Русь!

По возвращении из Петрограда создан замечательный цикл «Стихи о Москве». Он рожден и триумфом в Петрограде, и прогулками по городу с Мандельштамом. В цветаевских стихах нет Москвы исторической — это, прежде всего, город с плывущим над ним звоном бесчисленных церквей — «колокольное семихолмие»; а кроме того, Москва — как «огромный странноприимный дом», где «зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле», — нечто родное и живое, что можно и обнять, и прижать к сердцу: «я в грудь тебя целую, московская земля!»

Еще в январе 1916 года в Москве открылась выставка художников-футуристов. Высоко под потолком, на «святом месте», где обычно висит в русских домах икона, красовалась картина Казимира Малевича: черный квадрат на белом фоне. Александр Бенуа в газете «Речь» писал: «Это не просто шутка, не простой вызов, это весть о царстве уже не грядущего, а пришедшего Хама». Отмечая отдельные талантливые вещи, попавшие на выставку, Бенуа все же назвал ее в целом иллюстрацией футуристской «проповеди нуля и гибели». Шум вокруг «Квадрата» не утихал долго. Продолжалась популярность



С дочерью Алей. 1916

поэзоконцертов Игоря Северянина, выступлений Вертинского; в залах толпа, не сдерживаемая никакими представлениями о приличиях, визжала и топала ногами.

Неблагополучие последнего года перед революционным семнадцатым ощущалось чуть ли не физически. Оно царило всюду — и на театре военных действий, и в снабжении обеих столиц продовольствием, и в культурной атмосфере. Запах гибели обоняли не все, но наиболее чувствительные русские сердца отчетливо ощущали давящий пресс, под которым все глохло и искажалось до неузнаваемости. Улицы пестрели афишами о спектаклях в пользу раненых солдат, газеты с умилением сообщали об известном деятеле, пожертвовавшем некую сумму денег на военные нужды, и о членах семьи Льва Толстого, отправившихся на театр военных действий.

Поэтический талант Цветаевой продолжает стремительно развиваться. Год от году он набирает силу, осваивает новые краски, пробует разные регистры. В «Вечернем альбоме» лишь чуткое ухо Максимилиана Волошина расслышало первые такты будущих лейтмотивов цветаевского творчества. Теперь, на волне петербургского успеха, эти лейтмотивы оформились и зазвучали несравненно отчетливее, раскованнее, звонче. Цветаева выходит к собственной «неолитературной» интонации, уверенно обретает свой словарь.

В ее стихах социальных тем как не было раньше, так нет и теперь. Лишь иногда отголоски реальности попадают в ее поэтическую тетрадь: «рев молодых солдат» на улицах пасхальной Москвы, эшелоны новобранцев, уходящие на фронт... Но большинство стихотворений, созданных в этом году, окрашены тональностью трагического неблагополучия. Словно медиум, Марина вбирает сам дух времени и откликается на него. Во многих ее стихах 1916 года звучит голос человека, ощущающего себя на гибельной кромке между жизнью и смертью, временами теряющего всякую надежду на спасение. «Я — бродяга, родства не помнящий, / — Корабль тонущий...» Стихи оглушают — бурей, шквалом, неистовостью, преизбытком чувств, не вмещающимся ни в какие рамки.

В цветаевскую поэзию впервые ворвалось *стихийное начало*, и чем дальше, тем полнее оно в ней распрямляется. Трагические ноты, какие здесь временами слышны, — это уже не жалобы и обиды юношеских стихов, это крепнущее осозна-

ние стойкого неблагополучия — и в мире, и в своих отношениях с ним.

Много позже в статье «Поэт и время» Цветаева писала, что современность поэта — вовсе не в содержании его стихов; она воплощается более всего в ритмах и темпе, общем настроении произведения. «Современность поэта — во стольких-то ударах сердца, дающих точную пульсацию века — вплоть до его болезни... во внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи — и мое включающему, и в моем — моим — бьющемуся».

С этой точки зрения цветаевские стихи шестнадцатого года вобрали в себя самый дух русского 1916 года со всем его грозным неблагополучием. Ритмику этих стихотворений, поразительно разнообразную, сама Цветаева позже назвала «исступленной».

Трудно обозначить момент, когда поэт окончательно выпрастывается из пелен становления, — особенно у таких поэтов, к каким относится Цветаева, — неудержимо развивавшихся. Но все-таки именно в стихах 1916 года отчетливо зазвучал тот голос, тембр которого уже невозможно было спутать с другими. Этот голос вбирал в себя тревоги большого мира; голос с сильнейшими волевыми интонациями — при сохранении обаяния женственности; поражающий широтой эмоционального диапазона — от тишайших нот нежности до безудержных и страстных воплей отчаяния...

Глава 15

НАЧАЛО КОНЦА

Волошин вернулся из-за границы на родину весной 1916 года, вскоре уехал к себе в Крым и в Москву вернулся только в конце того же года, на Рождество. В его записной книжке отрывочными пометами отражены встречи — в том числе и с Мариной Цветаевой. Виделись они часто, хотя Марина в это время тяжело переносила вторую беременность и подолгу жила у сестры в Александрове.

В зимней Москве 1917—1918 года царил тьма — не было газа для уличных фонарей. С каждым днем ухудшалась ситуация с продовольствием. В длинных очередях громко роптали, и время от времени толпы громили булочные и мясные лавки. Свирепствовали вьюжные метели, поезда надолго застревали в пути: рельсы заносило снегом. Из-за топливного кризиса нередко простаивали даже заводы, работавшие на войну.

«Живем в какой-то эпидемической неврастении, — записывала в своем дневнике в январе 1917 года публицистка Хин-Гольдовская. — Сплетни, слухи, догадки и напряженное ожидание неминуемой катастрофы. Это ожидание: вот-вот!.. завтра!... а может быть, сегодня, только еще не дошло до нас, — парализует всякую деятельность. Такое впечатление, что люди двигаются, но не ходят, дремлют, но не спят, говорят, но не договаривают... Все ждут переворота как чего-то неизбежного. Никогда, кажется, не было столько самоубийств...»

В конце февраля в Петрограде массовые забастовки перерастают во всеобщую политическую стачку, начинаются столкновения и даже бои с полицией. 26 февраля солдаты вызванных в столицу войск начинают в массовом порядке переходить на сторону бунтующих.

В доме Хин-Гольдовской часто бывает Волошин. Здесь непрерывно звонит телефон, прибегают разные люди с новыми сообщениями.

Делая запись об освобождении в Петрограде революционными толпами политзаключенных из Петропавловской крепости, автор дневника восклицает: «Русское 14 июля! Взятие Бастилии!» 28 февраля — следующая запись: «Теперь нас ничто не удержит. «Тройка» сорвалась и несется вскачь».

И вот 1 марта — известие об отречении царя от престола в пользу брата, великого князя Михаила. На другой день — отречение Михаила.

Волнение захватывает и Москву. 1 марта революционными войсками взят московский арсенал. На улицах толпы, митинги. Трамваи не ходят, появились листовки, кричат «ура»; конные казаки разъезжают с красными флагами; полицию сменили студенты с винтовками — это «народная милиция».

Кто полностью разделяет всеобщий энтузиазм — это Константин Бальмонт. У него-то в эти дни и поселился Волошин. Они вместе бродят с красными лентами в петлицах по взбуряженным улицам города. Бродят вместе, но видят и оценивают увиденное совсем неодинаково. Волошин не склонен был разделять хмельное упоение Бальмонта всем происходящим. Хотя вместе с юной Ниникой, дочерью Бальмонта, он все же едет участвовать в освобождении политзаключенных из тюрем. Революционные московские газеты публикуют стихи Бальмонта. Это не просто стихи, а гимны: «В единении сила», «Слава солдатам», «Слава народу!». Узнавая Бальмонта на улицах, ему кричат «ура!». Другьям поэт с гордостью говорит, что Рахманинов уже пишет музыку на эти стихи.

Когда Волошин пытается предостеречь от преждевременного ликования, Хин-Гольдовская сердится. «Я устала слушать умников вроде Макса Волошина, — записывает она в дневнике, — глубокомысленно изрекающих, что “только иррациональное реально”...»

Однако умник Волошин оказался одним из прозорливейших современников. Спустя три года в статье «Русь распятая» он напишет: «Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение Республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая

Москва, 9^е августа 1917 г., среда.

Внимательному,

Воспринимающему — надо единично изъяс-
н. Среда говорит, что в это время
артиллерия слышима (недавно, что вы
слышите в эфире. X)

Земля ит. д., как и предсказывали,
говорит — в эфире, если вы уже слы-
шите о нем в эфире — слышите вы,
как слышите. Знаете, среда.

Среда итак слышит в эфире,
она говорит, что слышите вы в эфире
артиллерию.

Внимательному, если слышите — не слышите,
давайте, а в это время слышите же
Среда и среда. — В это время слышите
эфирную артиллерию ит. д. ит. д. —
лучше и так слышите.

X) Я в эфире слышу слышите ит. д. слышите
слышите, не слышите слышите.

Срефе Про, што е нивно - што е нивно
е нивно, што е нивно - што е нивно,
што е нивно е.

Срефе, мене мене јамкајќи дево,
дево мене мене. Во нивно дево
дево мене. Кога е нивно
дево мене е. Срефе! - Срефе,
Срефе, Срефе, што е нивно, што е нивно.

Срефе нивно е Про.

Недавно Срефе е нивно е
дево мене, а е - е Про.
Про. Дево мене нивно е,
што е нивно - што е нивно.
У мене е нивно е, што е нивно,
у мене нивно е нивно е нивно.
Нивно е нивно е.

Срефе нивно е нивно е
што е нивно, што е нивно е
што е нивно е.

МД.

их предвестниками исцеления. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимой ложью...»

6 марта в дневнике Хин-Гольдовской — запись: «Забегал Бальмонт. Он в экстазе... Не человек, а пламень. Говорит: “Россия показала миру пример бескровной революции”. Мрачный Максимилиан на это возразил: “Подождите! Революции, начинающиеся бескровно, обыкновенно оказывались самыми кровавыми... <...> Сегодня на Красной площади был парад народных войск...”»

Именно в этот день к Волошину пришло отчетливое осознание переворота в Петрограде как «трагической и роковой ошибки». Он был на Красной площади, видел парад и описал его: «По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. <...> Благодаря отсутствию полиции в Москве, из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые расположились по папертям и по ступеням Лобного места и заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее — человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня <...> эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятьями. От них разверзлось время, проваливалась современность и революция и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под вещей камней Красной площади, обогранных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли и нового Смутного времени».

Максимилан Александрович попробовал было поделиться с Алексеем Толстым своим пророческим видением Красной площади, залитой кровью, но тот в ответ взорвался лишь яростным возмущением.

Зато вполне разделяла настроения Волошина Марина.

В тот день она приехала с сестрой и дочерью из Александрова и видела взбудораженные толпы, красные банты в петлицах, слышала истерические выкрики. В воспоминаниях

младшей Цветаевой: «Марина, Аля и я пробираемся пешком с Ярославского вокзала в Борисоглебский, к Марине. Устали. Трамваи не ходят. Улицы запружены толпами. Красные флаги и красные полотнища с лозунгами над толпами, как хоругви над крестным ходом. Песни, крики. Ничего не слышно. Грузовые автомобили, переполненные людьми, <...> то несутся, то, остановленные скоплением народа, медленно продвигаются вперед.

Местами еще стоят городские, их разоружают, бьют, хватают, тащат, увозят. Оглушенные криком, давно не ев, мы присаживаемся отдохнуть перед Большим театром на скамейке в сквере. На бледном личике Али ее огромные голубые глаза смотрят, не понимая, в толпу. «Алечка, отдохнем», — говорит Марина. Четверка коней над театром взвилась высоко в небе...»

В первом цветаевском поэтическом отклике на события («Над церковкой — голубые облака...») — ни намека на ликование. «Нет у лиц у них и нет имен, — / Песен нету! / Заблудился ты, кремлевский звон, / В этом ветренном лесу знамен...»

Два основных мотива мы услышим в гражданской лирике Цветаевой 1917 года: сострадание к поверженным и — надежду на героя. Ее политические симпатии в том и в другом случае совершенно не играют роли! Одно из самых пронзительных стихотворений — мольба о царевице:

Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!

Пророческое предчувствие, страх, сжатие женского материнского сердца при мысли о судьбе больного ребенка, ни в чем не повинного царевица, — вот цветаевский отклик на происходящее.

В эти дни рядом с Мариной нет ее мужа.

Сергей Эфрон с конца 1916 года определен в юнкерское училище; сначала он в Нижнем Новгороде, а с середины февраля — в Петергофе под Петроградом. По нескольким сохранившимся его письмам отчетливо видно, что молодой юнкер, как и Марина, далек от ликования. События в Петрограде, бурлившем весь февраль и март митингами и забастовками, вызывают в нем самые неприязненные чувства. 13 марта он

пишет: «В Петрограде прежняя мерзость. Для солдат необходимо поражение, чтобы привести их в должный воинский вид. Я их не могу видеть, так они раздражают меня...» Ни на минуту у него, сына народоволки, не возникает радостных надежд, — как и сомнений в том, что войну необходимо продолжать. Он мечтает попасть на фронт после окончания училища. «Ни в коем случае не дам себя на съедение тыловых солдат, — пишет он. — При моей горячности — это гибель».

13 апреля 1917 года Марина родила вторую дочку. Роды и на этот раз оказались трудными; высокая температура держалась у родильницы больше двух недель. («Я плохо приспособлена для всех этих дел», — признавалась она позже.) Ждала Марина сына, но на свет появилась дочь. Девочку назвали Ириной. Она родилась слабенькой, что-то с ней было не в порядке, хотя сведения об этом сохранились глухие. Когда в октябре этого года ее впервые увидела сестра Сергея Лиля Эфрон, она написала сестре: «Сережина девочка — это такой ужас! Равного я не видела в жизни. Несчастный большеглазый скелетик, на котором висит кожа...» Но ведь у Ирины еще была тогда кормилица, и внешние беды пока еще не могли, кажется, так сильно отразиться на ее состоянии! Но и потом, когда Ирина немного подросла и стала ходить, Марина старалась гулять с ней вдаль от наблюдающих глаз — детей и прохожих. Почему — неясно. При всем том это был тихий и по-своему очаровательный ребенок, о чем свидетельствуют несколько сохранившихся фотографий.

22-го и 25 апреля, еще не оправившись от послеродовых осложнений, в платном родильном отделении Воспитательного дома Цветаева напишет два из трех стихотворений поэтического цикла «Стенька Разин».

Эти стихи потом будут пользоваться в любой российской аудитории оглушительным успехом. Они вобрали в себя глубинное бурление революции. Бунтарские тени Разина и Пугачева буквально витали тогда в воздухе, кто из поэтов не писал о них в те годы! Включая Волошина, создавшего позже — уже в декабре — свой «Стенькин суд». Но цветаевский Стенька особый. Не любил бы он от всей души свою персияночку — и стихов бы цветаевских не было. А вот любит — и губит, сам, своей рукой губит, казня тем и самого себя. И

душа его, над которой совершено насилие, будет болеть, пока он жив. Вот что действительно по-русски, вот где тайна, притягивавшая Марину, — тайна, в которую и Достоевский вглядывался с особенным напряжением.

Не раз и не два еще в цветаевских текстах возникнет имя Стеньки. И всякий раз оно вбирает в себя размышление о глубинной сути российского человека, слишком склонного к гибельным крайностям. Неясно, почему Цветаева впоследствии не включила этот цикл в «Лебединый стан» — книгу, которую она исподволь начнет составлять в этом году, включая в него свою «гражданскую» лирику.

Истинный шедевр этой лирики она создает, уже оправившись от родов, — 26 мая.

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

Зрелость, внятность, дальновидность избранной позиции — и блестящая отточенность поэтического слова. Потеряет ли когда-нибудь свою пронзительную актуальность это стихотворение?

В мае Маврикий Александрович Минц, второй муж Анастасии Цветаевой, отправлял в Крым, к Волошину, свою семью — Асю с двумя сыновьями, Андрюшей Трухачевым и годовалым Алешей. С невероятным трудом он достал билеты в купе первого класса: все поезда были забиты солдатами, возвращавшимися домой с фронтов, — вагоны брали с бою. Анастасия уезжала нехотя, с дурными предчувствиями и неспокойной душой, оставляя совсем больного Минца. Сердце ее не обмануло: уже 24 мая ей пришлось мчаться из Феодосии обратно, оставив детей на попечении друга. Но она опоздала. Прямо на вокзале ее встретила Марина. Она сообщила сестре о скоропостижной смерти Маврикия — от нераспознанного своевременно гнойного аппендицита.



Сергей Эфрон

Вдвоем они поехали на кладбище, — похороны накануне уже свершились...

Это лето оказалось предельно трагическим для Анастасии. В середине июля заболел и, проболев всего пять дней, умер младший ее сын, годовалый Алеша, едва научившийся ходить. В Коктебеле то была уже третья детская смерть за лето! Волошин пытается помочь Асе справиться с горем, читая ей Евангелие, но молодая мать в отчаянии не принимала никаких слов утешения и через день уехала в Феодосию. Беды продолжали ее и там преследовать. Заболел старший сын, первенец Андрюша, Ася вызвала его отца. Борис Трухачев примчался в Феодосию сразу, привез деньги, ободрил, дождался выздоровления сына...

Получив чин прапорщика, в июле 1917 года Сергей Эфрон вернулся из Петергофа в Москву. Он по-прежнему рвется на фронт, но не решается сделать это, жалуясь сестре: «Марина совсем к этому не подготовлена... Ничто так не связывает, как любовь, и прав был Христос, который требовал сначала оставить отца своего и мать свою, а потом только следовать за ним...»

В результате ему пришлось нести караул в Кремле и обучать солдат на Ходынском поле. Каждый день он возвращался домой без сил, с сорванным голосом, не в состоянии произнести ни слова. К этому присоединялись тошнота и головокружение. Отношение его к происходящему продолжало оставаться враждебным. Он открыто симпатизирует решительным действиям генерала Корнилова, назначенного 18 июля главнокомандующим и потребовавшего введения смертной казни на фронте и в тылу за нарушение воинской дисциплины. На Государственном совещании Корнилов потребовал и немедленного упразднения всех солдатских Советов и Комитетов, чем вызвал возмущение либерально-буржуазной интеллигенции. Но не Эфрона.

Москва тем летом была буквально наводнена солдатами. Они заполняли улицы, лежали на траве в садах. Простой люд в подворотнях шелкал семечками, шелуха летела прямо в лица прохожих. Улицы давно не подметались, пестрые обрывки плакатов валялись повсюду. Люди в серых шинелях висели гроздьями на трамваях, ехали на крышах. Большевистский

лозунг «Мира и земли!» кружил головы. Прислуга отпрашивалась у хозяев в отпуск в свою деревню хоть на несколько дней, простодушно объясняя, что боится опоздать: мужики все разграбят в помещичьей усадьбе и на их долю ничего не достанется...

Дороговизна растет фантастическими темпами.

В августе Сергей и Марина знакомятся с давним другом Лили Эфрон большевиком Бернардом Заксом. Он несколько лет отбыл в царских тюрьмах за революционную деятельность и был в числе тех, кого освободила Февральская революция. Благодарный за помощь, которую в течение многих лет заключения оказывала ему Лиля Эфрон, Закс приносит в дом Сергея фунт риса и немного хлеба. Это подношение, не смягчившее, впрочем, политической антипатии хозяина дома к гостю, само по себе знаменательно: фунт риса был уже чуть ли не царским подарком!

Марина настаивает на отъезде семьи в Крым. Однако это не просто: Эфрон готов перевестись по службе, например, в Одесский военный округ, которым командует друг Волошина генерал Маркс. Дело затягивается, хотя Волошин использует все возможные связи. Военным министром становится Борис Савинков — Максимилиан Александрович знаком и с ним. Но Марина не знает, что ее муж пишет Волошину откровенно другое: «К ужасу Марины, я очень горячо переживаю всё, что сейчас происходит, — настолько горячо, что боюсь оставить столицу. Если бы не это — давно был бы у Вас... Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь — Крым будет невыносим. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне... С очень многими не могу говорить. Мало кто понимает, что не мы в России, а Россия в нас».

Глава 16

НИКОДИМ

Отъезд Марины в Феодосию в конце сентября 1917 года оставляет нам некоторые загадки. Она уезжает, не дождав-шись отпуска мужа или перевода его на Юг по службе, о чем хлопотал Волошин. Уезжает без детей, хотя сначала предпо-лагала забрать с собой обеих дочерей (Ирине нет еще и полу-года!) или, в крайнем случае, Алю. Ее письма, написанные перед отъездом, выдают беспокойное возбужденное состоя-ние. В объяснение его называются разные причины. «В Мос-кве безумно трудно жить», — пишет Марина Волошину 9 авгу-ста. Ему же, 24 августа: «Я еду с детьми в Феодосию. В Мос-кве голод и — скоро — холод, все уговаривают ехать». Но если это причина, почему она едет одна? Ему же, 25 августа: «Убе-ди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бре-дит, но у него сейчас какое-то расслабление воли, никак не может решиться... Я страшно устала. Просыпаюсь с душев-ной тошнотой, день, как гора...» Вере Эфрон 13 сентября: «Я сейчас так извелась, что — или уеду на месяц в Феодосию (гостить к Асе) с Алей или уеду совсем. Весь дом поднять трудно, не знаю, как быть... Я больше так жить не могу, кон-чится плохо».

Что значит *уюду совсем*? Что значит — *кончится плохо*? Письмо Сергея, отправленное в эти же дни Елене Оттобаль-довне, как будто подтверждает внешние причины, способные объяснить вздрюченное состояние Марины. Он пишет о Мос-кве: «Голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязи как никогда и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвется...»

Но в ближайшие годы Марине и не то еще придется вы-нести. И вынесет. Истерическое состояние, и даже близкое к

нему, ей совсем не свойственно. И все-таки она уезжает! Чуть ли не внезапно, без всех, — благо сестры мужа согласились присматривать за детьми.

Правда, она собирается через месяц вернуться. И даже надеется привезти с собой продуктов, хотя бы муки. Эта надежда не оправдывается: в Феодосии цены еще выше, чем в Москве, разве что нет очередей. Ясно одно: ей отчего-то необходимо уехать не откладывая, дабы внутреннее напряжение ее не разорвало. Неужто же все дело в Москве, кипящей злобой?

Заглянем в ее поэтическое хозяйство. Будем помнить при этом, что восстанавливать по ее стихам биографию нельзя ни в коем случае, — она слишком часто откликается на чужое, безудержно экспериментируя, облакая даже случайный душевный импульс (не только свой — и чужой тоже!) в поэтические строки. И все же... Среди ее стихотворений августа–сентября некоторые настораживают. Вот отдельные строфы:

Смывает лучшие румяна —
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слезы — солоны. — Боюсь,
Я завтра утром — мертвой встану.

Это 19 августа. 20 августа — стихи «Из Польши своей спесивой...». 23-го — стихотворение «Иосиф», на известный библейский сюжет, с обороняющимся благородным героем; последняя строфа:

Спор Иосифа! Перед тобой —
Что — Иакова единоборство!
И глотает — с улыбкою — вой
Молодая жена царедворца.

23 сентября — стихотворение, начинающееся: «Запах, запах / Твоей сигары! / Смуглой сигары запах!..» Тут, правда, упомянуты и Монако, и Вена, и рокот Темзы... А все-таки, все-таки... Наибольшая улика — само изобилие стихов со второй половины августа, с преобладающим в них настроением горечи, утраты, тоски, растерянности. Это верный знак глубинной взволнованности Цветаевой: стихи проливаются, как из набрякшей тучи, — одно за другим, пока, наконец, не просветлеет. И вот созданные 1 сентября:

Мое последнее величье
На дерзком голоде заплат!
В сухие руки ростовщицы
Снесен последний мой заклад.

Промотанному — в ночь — наследству
У Господа — особый счет.
Мой — не сошелся. Не по средствам
Мне эта роскошь: ночь — и рот.

Простимся ж коротко и просто
— Раз руки не умеют красть! —
С тобой, нелепейшая роскошь,
Роскошная нелепость — страсть!

Теперь предложим возможное объяснение. Сергей Эфрон вернулся домой, окончив петергофское училище, к середине июля. С этого момента и возникает во весь рост проблема, не беспокоившая Марину раньше: Никодим Плуцер-Сарно.

Его привели в Борисоглебский переулок сестра Ася с Маврикием Александровичем почти год назад. Никодим Акимович был сослуживцем Маврикия, экономистом. Польский еврей по происхождению, он с акцентом говорит по-русски, курит сигары, худощав, элегантен, немногословен, черноволос и черноглаз. На следующий день после этой встречи сестрам приносят от него две корзины цветов. Марине — изысканную корзину незабудок. Приехав снова через некоторое время из Александрова, где она теперь живет, Ася застаёт у Марины Никодима Акимовича и по взволнованным лицам догадывается, что прерванный ее появлением разговор крайне волнует обоих. С присущим ей тактом младшая сестра подсаживается рядом — «и далее, — как она пишет, — потекла волшебная беседа». Это май 1916 года.

О Плуцер-Сарно известно очень мало. Сохранились, однако, три его письма Марине. Все три написаны в 1917 году: одно в январе и два в июне. Все написаны из Нижнего Новгорода, куда Никодим Акимович регулярно ездит по долгу службы.

Это странные письма; они кажутся скорее женскими — или письмами очень юного человека; между тем их автор стар-



Никодим Плуцер-Сарна

ше Марины на десять лет. В письмах нет прямых любовных признаний, и все-таки это несомненно любовные письма.

В Нижнем Плущер-Сарно познакомился, — несомненно по просьбе Марины, — с ее мужем и чуть ли не влюбился в него. 27 января 1917 года: «Это все так сразу свалилось на меня, что я только постепенно овладеваю переживаниями. Мне нестерпимо грустно. Я больше ничего не в состоянии написать Вам, Марина. Остальное я мог бы передать Вам только шепотом... во мне только острое пронзительное чувство тоски по Вас, милая Маринушка...» В другом письме, уже июньском: «Я пьян от тоски... Когда, Маринушка, я держу в руках Вашу светлую головку и вглядываюсь в Ваши зеленые глаза через всю стихию полета страсти, тоски, восторга, чую явственно весь меня поглощающий ритм Вашей души. Это мой собственный ритм — это две реки сливаются в один широкий могучий поток...

Вы поймете, Маринушка, как Вы мне необходимы. Без Вас я проживу у чужих людей молчаливым, в холоде, изредка согреваемый пламенем чужих костров. Мы с Вами, Маринушка, двое БЛАГОРАЗУМНО несчастных БЕЗУМНО счастливых людей».

Наконец, строки последнего (из сохранившихся) письма, от 26 июня: «Я сел у столика и с радостью, безумной, безудержной, думал о жизни, о Вас, Марина... Это маленькое купэ — дом мой. В нем я освобожденный, настоящий, безудержный, безнаказанный, с душой-вольницей.

Марина, мне необходимо жить и любить. Я с горечью думаю о своей судьбе. Захотелось... жизни вдвоем, простых слов, восторга, отраженного чужой душой».

Кроме писем он шлет Марине из Нижнего еще и телеграммы...

Возможно, в текстах этих писем сказывается неродной язык. Тем простодушнее предстает в странной их стилистике романтическая душа взрослого мужчины, взволнованная до самых глубин. И все это, заметим, написано буквально накануне возвращения Эфрона из Петрограда. Но и Никодим женат! Его жена Таня с восхищением и преданностью относится к Марине. И в течение ближайших двух лет оба они будут самоотверженно помогать Цветаевой во всех ее бытовых хлопотах и неурядицах.

Но с возвращением Сергея отношения — даже если они уместились в платонических рамках — осложняются. Не от этой ли ситуации так срочно спасается Марина? Ни она, ни Никодим не собираются ничего рушить в своих семьях. Значит, что же — разрыв? Отказ? Обман? Одно другого невозможнее.

Однако нашу фантазию, которая всегда норовит устремиться по протоптанной дорожке, придется укротить. И скорректировать признаниями Марины, адресованными (что существенно для нашего к ним доверия!) совсем в другую сторону. Еще за год до обсуждаемой ситуации, 21 июля 1916 года, она отвечала на неожиданно полученное ею тогда — после пятилетнего перерыва! — письмо от Петра Юркевича — того самого Понтика. И в этом ее письме — признания, которые игнорировать не стоит, хотя бы потому, что искренность их Цветаева подтвердила всей своей дальнейшей жизнью: «Долго, долго, — с самого моего детства, — пишет она, — с тех пор, как я себя помню, — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь. А то, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, — мне этого не нужно. <...> Есть у меня еще другие горести с собеседниками. Я так стремительно вхожу в жизнь каждого, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть», что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: «Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться — мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души! <...> А я хочу легкости, свободы, понимания, — никого не держать и чтобы никто не держал!»

Похоже, что Никодим Плущер-Сарно был не из пугливых, — но самой Марине пора было надевать узду на свободное чувство. Наступала пора пересадки из «Теперь» во «Всегда», — так она сама это назвала позже в письме к Рильке. Любовь во времени — вещь неблагодарная, сама себя уничтожающая, — писала тогда Цветаева, — с ней надо уметь справляться. Марина умеет, но для этого все же необходимо время и, видимо, уединение. «Что трудней — сдержать лошадь или

пустить ее вскачь? И — поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, — мы сами — что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы? Дышать или не дышать?» (Это написано уже в 1934 году. И тут же, далее:) «Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содрогается земля <...> Мой отказ называется еще так: не снисходи — ничего не оспаривай у существующего порядка...»

Есть важная запись на страницах сборника «Версты», объединившего стихи, написанные Цветаевой в 1916 году. Запись сделана автором через много лет, по просьбе владельца книжки Алексея Крученых, под стихотворением «Руки даны мне — протягивать каждому обе...». Вот ее текст: «Все стихи отсюда — до конца книги — и много дальше написаны Никодиму Плущер-Сарно, о котором — жизнь спустя — могу сказать, что — сумел меня любить, что сумел любить эту трудную вещь — меня...»

И это почти все из достоверностей, касающихся этой истории.

Не значит ли это, что тревогу и возбужденность сентября и внезапный отъезд без детей и мужа можно объяснить самозащитой? Тем более что 14 сентября в подмогу таким предположениям написано прекраснейшее из стихотворений года:

И вот, навьючив на верблюжий горб,
На добрый — стопудовую заботу,
Отправимся — верблюды смирён и горд —
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью верблюжьих тел —
Мечтать о Ниле, радоваться луже,
Как господин и как Господь велел —
Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьи...

Но любовь остается. И только к концу 1918 года она иссякнет под тяжестью каких-то — Бог весть каких! — обстоятельств и обид. А нам в наследство от этих радостей и мук достанутся поэтические сокровища.

Итак, это ему, Никодиму, адресовано такое — размахнись-рука, раззудись-плечо — веселое, шальное стихотворение:

Кабы нас с тобой — да судьба свела —
Ох, веселые пошли бы по земле дела!

И к нему же — чудесно лирическое: «Вот опять окно, где опять не спят...», как и другое, ликующее: «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...». Странно, что последнее стихотворение Марина почему-то не включила в сборник «Версты». Почему? Оберегая Сережу? Слишком личное?

Но не включила и другое, как бы повторяющее то пожелание друга, с которым мы встретились в его письме:

...Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени...

В октябре Марина — в Феодосии, у сестры Аси. Она еще сохраняет надежду — а поначалу даже уверенность, — что муж с детьми и няней вскоре к ней присоединятся.

Увы! Пройдет всего несколько недель, и почтовая связь между Севером и Югом прервется. В «Южных ведомостях» исчезают сведения о том, что происходит в России севернее Харькова; до Крыма не доходят ни письма, ни газеты.

В Феодосии вспыхивает солдатский пьяный бунт. Разбивают винные погреба, пьяные матросы днем и ночью горланят песни. Идут грабежи. На улицах слышны выстрелы.

На несколько дней к Марине и Асе приезжает из Коктебеля Волошин. Его мучает астма, терзают напряженные отношения с матерью, очень тревожит ситуация в стране. Но при всем том он верен себе: «Какое страшное время — и какое счастье, что мы до него дожили!» — сказано в одном из его писем этих дней. Для сестер у него всегда достаточно и сочувствия, и сердечного тепла.

Марина остается верна своему ремеслу — вернее, оно ее не покидает; прекрасное стихотворение написано ею в эти дни:

Ночь. — Норд-Ост. — Рев солдат. — Рев волн.
Разгромили винный склад. — Вдоль стен
По канавам — драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна...

Дни идут за днями — никаких известий из Москвы, никаких известий от Сергея!

В безумной тревоге Цветаева возвращается обратно.

И только в поезде, уже отъехав несколько сотен километров от Феодосии, она узнает о большевистском перевороте в Петрограде. А также о том, что в Москве уже несколько дней идут кровопролитные бои!

На каждой станции в газетах — цифры убитых в боях за Кремль, сведения противоречат друг другу, но ясно одно: в эпицентре событий — Кремль и тот самый 56-й запасной полк, в котором служит Сергей! Харьковские, орловские газеты, печатающиеся почему-то на розовой бумаге, пишут о горах трупов. И о зданиях, взорванных вместе с юнкерами и солдатами, отказавшимися сдаться... Кремль переходит из рук в руки!

Спасательный круг Цветаевой всегда один: перо! И под вагонную тряску строку за строкой она вносит в свою тетрадку. Так другие — в России! — пьют водку стакан за стаканом, не в силах справиться со стрессом. Потом — это уже потом, — почти не редактируя, она сделает из этих записей очерк «Октябрь в вагоне». А сейчас ее тетрадка — это разговор с мужем: «Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56-й запасной полк, Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я всё это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака».

26 октября за утренним чаем Эфрон прочел в свежем номере газеты о большевистском перевороте в Петрограде. Он уже не ждал ничего доброго со времени провала корниловского наступления на Петроград (конец августа — начало сентября) от развития политических событий в стране. Но теперь он потрясен.

«Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день и мысль о чем так старательно отгонялась всеми, — свершилось...» — так вспоминал Сергей Эфрон этот день спустя семь лет — в очерке «Октябрь». «Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой — все действительное, могущее оказать им сопротивление. Я недооценивал силы большевиков, их поражение казалось мне несомненным».

В этот же день, 26 октября, Сергей едва не стал жертвой солдатского самосуда в уличном столкновении. Только хладнокровие и находчивость спасли его. А также неожиданное заступничество одного из работников московского Совета рабочих и солдатских депутатов, куда разъяренные солдаты привели его вместе с товарищем по полку.

Всю следующую неделю Эфрон днюет и ночует в Александровском военном училище, где разместился штаб офицеров московского гарнизона. Сначала первые успехи окрыляют его и его товарищей. Но с каждым днем становится все яснее обреченность сопротивления. У офицеров нет артиллерии, очень мало патронов; командующий московским гарнизоном полковник Рябцов занимает пораженческие позиции, а генерал Брусилов, к которому офицеры обращаются с просьбой принять на себя командование, уклоняется под предлогом отсутствия приказа со стороны Временного правительства.

Москва гудит от артиллерийской канонады. Улицы простреливаются с чердаков и крыш: после сдачи Кремля Рябцовым оружие из кремлевского арсенала разошлось по всей Москве и большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. Наспех созданный Комитет общественного спасения под председательством городского головы Руднева настороженно следит за действиями офицеров московского гарнизона, — они представляются Комитету направленными против завоеваний Февраля!

От усталости и бессонных ночей у Сергея опухают ноги, ему приходится разрезать сапоги, чтобы снять их вечером. От боли разрывается голова. Наконец становится ясно, что помощи ждать не от кого. Приходит сообщение о том, что в Лефортове большевистская артиллерия снесла здание Алек-

сеевского училища — через короткое время та же судьба уготована и Александровскому.

Силы большевиков окончательно берут верх буквально накануне возвращения Марины в Москву.

На последнем собрании офицеров в актовом зале училища принято решение: сложить оружие и тем, кто уцелел, поодиночке пробираться на Дон, где собираются войска «для спасения России».

К Эфрону подходит его однокашник, прапорщик Сергей Гольцев. «Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Сережа, на Дон?

— На Дон, — отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за всю мою жизнь.

Впереди был Дон».

Предоставим теперь слово Марине, только что приехавшей в Белокаменную: «Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но всё равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика... Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. — Пропуск! — Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю. <...> Заставы чуть громыахают: кто-то не сдается.

Ни разу — о детях. Если С. нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С.» Как всегда, она готовится к худшему.

И вот, наконец, — Борисоглебский!

Сергей жив!

Вне себя от счастья, Марина в тот же день увозит мужа из Москвы обратно на Юг. Вместе с тем самым Гольцевым. Стремительность обусловлена и вескими причинами, и паникой Цветаевой. Остаться сейчас в Москве Сергею в самом деле крайне опасно: железнодорожное сообщение с Югом вот-вот прервется, а у нее, слава Богу, есть пропуск на возвращение в Крым — и надежда, что это сработает и для мужа. Дети остаются на попечении сестер Эфрон, и все равно это было бы



1914

невозможно — везти их теперь в этих чудовишных вагонах, доверху забитых солдатами.

И главное, главное! Ведь всем еще кажется (и как долго, как долго еще будет казаться!), что весь этот кошмар продлится недолго — ну, несколько недель, ну, месяц... не больше же!

И вот, после всех чудовишных мытарств, 10 ноября они наконец — в Коктебеле! Снежный вихрь бушует совсем так же, как в ту еще совсем недавнюю новогоднюю ночь, когда они вместе с Максом встречали 1914 год.

«Седое море. Огромная, почти физически жгучая радость Макса при виде живого Сережи...»

Несмотря на нездоровье, Волошин в приподнято-возбужденном состоянии. Все прошедшее лето он читал французского философа Леона Блуа, единственного, кто, как считает Волошин, умеет крупно смотреть на современную историю. Теперь на его столе Библия, Достоевский и книги по истории Французской революции. События, разворачивающиеся в стране, Максимилиан Александрович сразу мерит историческим масштабом; он не сомневается в том, что все это отнюдь не кратковременная заварушка, а великая вежа в истории России. А может быть, и в мировой истории.

Волошинские предвиденья и пророчества поразительны. В дни, когда Марина и Сергей еще живут в Коктебеле, он напишет Юлии Оболенской: «Читаю Тэна. Раскройте последние главы «Якобинского захвата», где речь идет об августе 1792 года... Психология действующих лиц, характер событий — все совершенно тождественно. Эти исторические параллели говорят, что нет никаких данных, чтобы большевизм, как принято теперь утешаться, изжил сам себя в очень короткий срок. Если он не будет сметен внешними событиями, то у него есть все данные укрепиться посредством террора на долгое время. Вообще теперь дело за террором, которому, вероятно, будет предшествовать большой, организованный правительственными кругами, погром...»

Сергей и Марина надеялись, что в Коктебель вскоре сумеет приехать Вера Эфрон, привезет с собой Алю и Ирину и тоже останется здесь. Но Вера, пообещав это, — передумала.

На берегу бурного зимнего моря Марина проживет пятнадцать дней. И как раз в эти дни Волошин пишет замечательные стихи — «Святая Русь», «Мир» или вот это, начинающееся со слов:

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогадали, проболтали...

Поэт обретает в них новый голос, знаменующий начало самого блестящего периода его творчества. Цикл «Две ступени» он посвящает Цветаевой и, когда она уезжает, отправляет с ней в московские редакции несколько новых стихотворений.

Это последнее свидание Марины с ее любимым старшим другом и Еленой Оттобальдовной. Никто из них об этом, конечно, не догадывается.

Как это, в сущности, милосердно: не знать своего будущего...

Глава 17

ПЕРВАЯ ЗИМА

Имя Павла Антокольского Марина услышала впервые от товарища мужа Сергея Гольцева в поезде, увозившем их всех на Юг. Тогда, в вагоне, он прочел стихи Павла, которые Цветаева уже не могла забыть.

И, вернувшись в Москву, она разыскала автора.

Антокольскому было в ту пору двадцать два года. Он учился на юридическом факультете Московского университета, писал стихи, но главной его страстью был театр. Он был активнейшим участником молодежной театральной студии, возникшей в Мансуровском переулке как «дочерняя студия» знаменитого МХТ. Студию сначала называли Мансуровской, затем Третьей студией МХТ; возглавлял ее режиссер Евгений Багратионович Вахтангов.

Темпераментный, легко воспламеняющийся, романтичный Павлик был внешне похож на молодого Пушкина и подвизался в студии в качестве актера, режиссера и автора нескольких пьес. С Мариной они быстро разговорились, подружились и часами увлеченно парили в облаках, не замечая холода и голода, обсуждая все подряд: поэзию, спектакли, непредсказуемые повороты судеб — и судьбы мира...

В конце января Цветаева ведет Антокольского в дом Цетлиных — это совсем неподалеку от Борисоглебского. Сама Марина познакомилась с Марией Самойловной и Михаилом Осиповичем не слишком давно, стараниями Волошина, неутомимо дарившего своих друзей друг другу.

Искренне любящие искусство и особенно поэзию, энергичные и состоятельные Цетлины, вернувшиеся в Россию из

Франции летом 1917 года на волне революционных событий Февраля, прошлой осенью решили — по совету того же Волошина — создать свое издательство. И это стало еще одной причиной того, что в особняке Цетлиных на Поварской улице охотно бывают литераторы, и не только маститые.

Хозяин салона Михаил Осипович внешне невзрачен, хром, но крайне радушен; он сам — поэт, публикующий стихи под псевдонимом «Амари». Жена его, черноглазая тридцатипятилетняя красавица (ее портрет написал в свое время Серов), в прошлом была связана с эсерами, арестована, затем эмигрировала и в Швейцарии закончила университет.

В этом доме, расположенном совсем рядом с цветаевской квартирой, несмотря на внешние потрясения, еще достаточно регулярно устраивались приемы. Здесь вкусно кормили, знакомили друг с другом и готовы были терпеливо выслушивать каждого. Кроме московских поэтов и писателей всех мастей, бывали тут и художники, в их числе Диего Ривера, Наталья Гончарова и Ларионов.

В салоне говорливо-дымном
Всяк оседал, кто хоть бочком
С искусством новым был знаком...

Ироническая и все же теплая тональность окрашивает эти стихи Бориса Спасского, вспоминавшего хозяина дома в те вечера:

Вынянчивая цвет богемы,
Он не боялся смелой темы,
И каждый вывих и заскок,
Ужимка слова, вычур кисти,
Бенгальский блеск трескучих истин,
Изгиб невероятных строк —
Все плавилось в гостеприимном
Чаду беспечных вечеров...

Супруги Цетлины в высшей степени терпимы; по свидетельству молодого Эренбурга, тут обсуждали все что ни придет в голову, не оглядываясь, и «говорили много / Об ухе Ван-Гога, / О поисках Бога, / Об ослепших солдатах, / О санитарных собаках, / О мексиканских танцах / И об ассонансах...»

Однако январский вечер, на который Марина пришла

вместе с Антокольским, был особенным — не случайно же, спустя годы, он попал в мемуары сразу нескольких современников.

То была встреча-турнир двух поэтических направлений: символистов и футуристов. Первых представляли Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Балтрушайтис, вторых — Владимир Маяковский, братья Бурлюки, Василий Каменский, Борис Пастернак. Немало было и тех, кто стоял вне «лагерей»: такой была Цветаева, а еще Владислав Ходасевич, Павел Антокольский, Вера Инбер, Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Илья Эренбург, Маргарита Сабашникова.

Открыли вечер два вступительных слова: от символистов его произнес Вячеслав Иванов, от футуристов — Николай Бурлюк. Затем читали стихи по старшинству. И все шло (как вспоминал потом в «Охранной грамоте» Пастернак) без сколько-нибудь чувствительного успеха.

Но вот очередь дошла до Маяковского. Он прочел поэму «Человек». Едва он кончил, его бросился обнимать Алексей Толстой. Стало ясно, что поэма — главное событие вечера и главное потрясение для всех присутствовавших.

Цветаева не могла не заметить реакции мэтров символизма. На это обратил внимание и Пастернак. Андрей Белый слушал как замороженный, побледнев и, как вспоминал Пастернак, «совершенно потеряв себя». По окончании чтения он взял слово и с несдерживаемым восхищением отозвался о масштабе дарования Маяковского, сказав, что поэма Маяковского — подлинно исполинская по замыслу и по исполнению. Впечатление от слов мэтра было столь сильно, что присутствовавшие бурно аплодировали уже не Белому, а автору поэмы.

Хозяйка пригласила всех к столу.

После первой же рюмки поднялся Бальмонт. Он прочел только что сочиненный им во славу Маяковского сонет. Сонет, в котором, как потом Бурлюк говорил Асееву, сквозь дружескую и отеческую похвалу явственно прозвучало признание в сдаче своих позиций перед молодым талантом.

Они сидели тогда рядом за ужином — Борис Пастернак и Марина Цветаева. О чем говорили — Бог весть. Пастернак влюбленно глядел на Владимира Владимировича.

Через четыре с лишним года в письме Пастернаку Марина вспоминала: «Я вас пригласила: «Буду рада, если...» — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется...» Пастернак о той же встрече сказал определеннее: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но и не зная тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов...»

Так или иначе, именно с этого вечера у Цетлиных Цветаева вела свой отсчет их встреч.

Через два месяца особняк Цетлиных заняли анархисты.

Идет первая революционная зима. Даже хорошим хозяйкам с каждым днем все труднее «вести дом»: в магазинах пусто, если же удастся найти продукты, они продаются по бешеным ценам. На улицах дамы в вуалях, старенькие генералы в папахах, бывшие курсистки чем-то торгуют, что-то выменивают. Всюду солдаты с мешками; то там, то здесь вспыхивают уличные митинги; ночью на перекрестках горят костры, проверяют документы. Газеты часто выходят с белыми колонками: свирепствует большевистская цензура.

Дневник Ивана Бунина зафиксировал упорные слухи: Москва скоро будет сдана немцам, лучшие московские гостиницы уже готовятся принять вчерашних врагов.

Все разговоры вертятся в эту зиму вокруг договора о мире с Германией: подпишут — не подпишут? И на каких условиях?

Брест-Литовский договор был подписан только 3 марта. И в тот же день издан знаменитый большевистский «квартирный декрет». Появляется новое словечко и понятие: *уплотнение*; рождается советский феномен — «коммунальная квартира», и квартира в Борисоглебском переулке не стала исключением.

Удар на первых порах смягчен для Марины тем, что по

рекомендации сестер Эфрон в квартиру Цветаевой вселяется Бернард Закс — давний друг семьи Эфронов. В цветаевской прозе он будет потом фигурировать как «большевик Икс», и Марина вспоминает его с благодарностью, лишь позволяя себе временами улыбнуться его невежеству. Закс был профессиональным революционером-большевиком. Вскоре — той же весной 1918 года! — он поможет освободить из-под ареста старика Иловайского. Душевная его доброта проявится и в трогательных подарках: убежденный коммунист и атеист, он покорила Марину, преподнеся ей на Пасху кустарную деревянную фигурку русского царя. Помогает Закс и в хозяйственных мытарствах — продуктами, а иногда и деньгами. Грядущей осенью именно он устроит свою «хозяйку» на службу в Наркомат по делам национальностей.

То, что около Марины оказался в ту грозную пору этот заботливый, деликатный и немножко смешной в ее глазах человек, заметно шлифует обычную цветаевскую категоричность в оценках происходящего вокруг.

Однако час от часу жизнь становится невыносимее.

Солидный капитал, оставленный дочерям в наследство матерью и хранившийся в банке по ее завещанию в ожидании их сорокалетия, увы, экспроприирован! Между тем ежеквартальные проценты от этого вклада как раз и были для Марины и Аси основой их материального существования.

Этой весной Цветаева сблизится с Константином Бальмонтом. Он живет неподалеку, познакомились они еще раньше и скоро станут настоящими друзьями. В бальмонтовском письме мая 1918 года: «Жизнь в Москве превратилась в какой-то зловещий балаган. <...> Голод уже устрашающе идет, уже наступил. Я зарабатываю по 2000 рублей в месяц, которые все уходят на жизнь, отнюдь не роскошную, а часто нищенскую...»

Благом для московских интеллигентов в определенном смысле оказывается то обстоятельство, что 10 марта 1918 года большевистское правительство переезжает в Москву. Спустя двести лет она снова становится столицей русского государства.

И потому здесь растут, как грибы, новые учреждения. В том числе и всяческие «культурные отделы», подотделы и ко-

миссии народных комиссариатов, где можно пригреться литераторам, художникам, режиссерам. Андрей Белый и Вячеслав Иванов служат в поэтическом отделе только что созданного Пролеткульта, в какой-то из комнат Наркомата просвещения сидит Николай Бердяев, еще в одной — Владислав Ходасевич. Маргарита Сабашникова — секретарь в отделе живописи «Пролеткульта»; князь Волконский, бывший директор императорских театров, с конца 1918 года преподает в ТЕО — театральном отделе того же Наркомпроса.

У Цветаевой единственный источник добывания средств на жизнь — продажа вещей. Она делает это неумело, нелепо, постоянно попадая впросак. Уже зная за собой отсутствие нужных способностей, прибегает к посредникам, а те ее, естественно, надувают и обкрадывают. Этой весной в домашнем рационе семьи — резкое оскудение. «Дороги хлебушек и мука! / Кушаем — дырку от кренделька...» — это строки из стихотворения, написанного в июне 1918 года.

Но пока главное переживание Марины — не подступающий голод. Главное — неизбытная тревога за жизнь мужа.

Александр Блок в начале этого года создал знаменитую свою поэму «Двенадцать». Она отнюдь не была прославлением революции, и все же в ней воплотилась революционная стихия. Что до Марины Цветаевой, то в год 1918-й всем сердцем и всем сознанием она обращена к другой стихии — стихии сопротивления, родившейся на юге России, там, где

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

Волна гражданских чувств, непримиримость гнева вскипает в ее поэзии с неожиданной силой:

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!
В чертову дюжину — календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!

Глава 18

ПРАПОРЩИК СЕРГЕЙ ЭФРОН

С декабря 1917 года Сергей Эфрон в рядах Добровольческой армии. Человек ярко выраженного общественного темперамента, он на протяжении всей своей жизни постоянно оказывается в самых горячих точках социального кипения; для него невыносимо бездействие, пассивное наблюдение со стороны за судьбой России. «Я был добровольцем с первого дня, — написал он спустя семь лет в статье «О добровольчестве», опубликованной в крупнейшем журнале русской эмиграции «Современные записки», — и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 1917 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем». «Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, — писал он там же, — была родина. Родина как идея — бесформенная, не завтрашний день ее, не «федеративная», не «самодержавная» или «республиканская» или еще какая, а как не определяемая ни одной формулой и не охватываемая ни одной формой. Та, за которую умирали на Калке, на Куликовском, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы российской, — мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины. С этим знаменем было легко умирать, и добровольцы это доказали, но победить было трудно».

Добровольческая армия формировалась генералом М.В. Алексеевым в Новочеркасске. Прапорщик Эфрон, едва появившись здесь и оглядевшись, составил и подал генералу «Записку», содержащую проект ускорения процесса создания армии. Он предлагал формировать полки, батальоны, отряды, давая им названия крупных городов России. Таким образом,

считал он, «создалась бы кровная связь со всей остальной Россией». План был принят, а Эфрон тут же отправлен в Москву — почти без средств — для добывания денег и упрочения необходимых связей.

Сведений об успехе или провале его плана не сохранилось.

Но в Москве Сергей действительно пробыл некоторое время — инкогнито, ибо его участие в октябрьских боях против большевиков было достаточно известно. И все же Сергей рискнул — и появился-таки в Татьянин день в одном не слишком ему знакомом доме. То был дом Татьяны Коншиной, с которой он впервые встретился прошлой осенью, незадолго до «октябрьской недели».

Сохранились ее воспоминания:

«Только сели за стол в уютной столовой, — звонок. Меня вызывают в переднюю. Стоит очень высокий человек в длинной дохе, с поднятым воротником, наполовину закрывающим лицо. Видны только огромные глаза. «Узнаете? Можно поздравить? Я всего на несколько дней в Москве». Боже мой! Какая неожиданность, даже как будто таинственность...»

Этот вечер на всю жизнь запомнился имениннице, хотя больше она никогда уже не встречалась с Эфроном. Вечер не мог не запомниться и гостю, — слишком многозначительно было стечение обстоятельств. Дело в том, что сидевшая за праздничным столом тетка Татьяны оказалась подругой молодости Лили Дурново — матери Сергея! Естественно, что она хорошо помнила красавицу Елизавету Петровну, из богатого дома бесповоротно ушедшую «в революцию». Много лет назад тетушка Татьяны продала свое жемчужное ожерелье, чтобы на вырученные деньги народovolка Лиля могла уехать за границу, спасаясь от грозившего ей ареста. И вот ведь совпадение! Как раз сегодня имениннице был подарен фермуар от того самого ожерелья!

— И подумать только, — повторяла рассказчица, — через столько лет я рассказываю все это Лилечкину сыну! Какой случай!..

«Рассказ так сильно повлиял на гостя, — продолжает Коншина, — что он долго сидел молча и всё рассматривал фермуар.

— И эту вещь держала в руках моя мать...

Его, по-видимому, особенно поразило, что воспоминание о ней пришло, когда он этого совсем не ждал и в момент, когда он стоял перед решением важных для себя вопросов жизни. Он пробормотал что-то вроде: «Теперь, именно теперь!»...

Он ушел. Никто не спросил, где он был эти два с половиной месяца, куда уезжает, что думает о происшедшем в октябре? Вопросы не предполагались. Сам же он об этом молчал. Оставались одни предположения, догадки. Юг? Белый? Красный? Никакой?

Что потянуло его, приехавшего, как он сказал, всего на несколько дней и, кажется, действительно инкогнито, в семью почти незнакомых сестер? Не магический ли магнит фермуара привел его? Неведомо. Пути неисповедимы... Сам он, по-видимому, воспринял рассказ тетушки как нечто мистическое, как протянутую к нему материнскую руку в такой решительный и значительный момент его жизни.

Сергей Эфрон оказался по-настоящему храбрым офицером.

В конце февраля 1918 года, когда Ростов-на-Дону был взят Красной Армией, генерал Корнилов вывел добровольцев на Дон, в степи. План Корнилова состоял в том, чтобы, захватив Екатеринодар, отрезать от большевиков бакинскую и грозненскую нефть. На протяжении марта малочисленной армии, насчитывавшей всего три тысячи добровольцев, приходилось вести непрерывные бои с численно превосходившим ее противником. Ряды добровольцев таяли на глазах. Ветры, холода, снежная грязь были спутниками продвижения к Екатеринодару, — недаром же впоследствии этот поход получил название «Ледяного».

«Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова, — писал Сергей Эфрон уже из Новочеркасска в Крым Волошиным. — Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о которой я не имел до сих пор понятия. Переходы делались громадные — до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал! Спать приходилось по 3—4 ч. — не раздевались мы три месяца — шли в большевистском кольце — под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды, приходилось и их брать с бою у большевиков».



Сергей Эфрон. Октябрь 1918

1 апреля начался штурм Екатеринодара. Вскоре безнадежность положения стала ясна всем, кроме упрямого Корнилова. Но 4 апреля Корнилов был убит. И в тот же день Эфрон потерял своего ближайшего друга — того самого Сергея Гольцева, с которым он уезжал из Москвы. Взявший на себя командование армией генерал Деникин дал приказ об отступлении.

Чудом добравшись до Новочеркасска, Эфрон 12 мая сообщает в Коктебель: «Я жив и даже не ранен, — это невероятная удача, потому что от ядра Корниловской Армии почти ничего не осталось. <...> ...что делать? Куда идти? Неужели все жертвы принесены даром?»

Поразительно, но в тот самый день, когда Сергей смог написать это свое письмо, Марина, уже почти три месяца не имевшая известий от мужа, создает стихотворение, воплотившее все напряжение ее боли:

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое — семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней — утешаюсь.
Если встретится — скажи.

Уцелевший в Ледяном походе Сергей чуть было не умер, заболев в Новочеркасске тифом. Но он верен себе: его дух ни на йоту не укрошен перенесенными испытаниями. Его надежды на успех Белого движения не развеялись. Получив письма из Крыма, он возражает Волошину: «Не разделяю Вашего мрачного взгляда на будущее России. Сейчас намечается ее выздоровление и воссоединение, и в ближайшем будущем (два-три года) она будет снова великодержавной и необъятной...»

(В пророки Сергей Эфрон ни в молодости, ни в зрелые свои годы не годился. Он прекрасендушен, благороден и недальновиден, он рвется к активному участию в делах политических, но оценивать их трезво так и не научится. В конечном счете эти черты личности и приведут его в застенки Лу-

бянки. Ибо искренность, готовность к самопожертвованию, смелость, выносливость и очевидная героичность натуры — даже опасны, если ими не руководит трезвый и способный к критическому анализу разум. Не тут ли во многом исток всех революций: горячие эмоции, а то и безоглядная отвага, не руководимые выверенной мыслью?)

Выздоровев, Сергей приезжает в Коктебель к Волошиным.

Он пробудет в Крыму с начала июня до поздней осени. Тщетно он пытается связаться с Москвой; его не покидает надежда на то, что Марине с детьми все же удастся приехать в волошинский дом...

В Москве трудностей хватает с избытком, но еще шумит живая жизнь, это еще не чумной и страшный 1919-й.

Каждый день граждане с тревогой читают очередные листы бумаги, расклеенные на стенах домов: это декреты большевиков. В один из дней появился еще один — отпечатанный футуристами. Это поэтический текст Маяковского «Декрет по армии искусств». Еще в марте поэт устроил в Политехническом музее шумный вечер «Против всяческих королей». Мероприятие проведено явно «в пику»: незадолго до того в том же Политехническом музее увенчали лаврами «короля поэтов», не Маяковского, а Игоря Северянина. И даже на втором месте оказался не он, а Бальмонт!

1 мая столица проснулась изукрашенной футуристическими и супрематическими полотнами. Мимо молящихся в Иверской часовне, что совсем рядом с Красной площадью (в тот день как раз случилась Страстная пятница), пронеслись грузовики с актерами и художниками.

Любопытное свидетельство оставила в своих мемуарах Маргарита Сабашникова. Правда, она вспоминает уже осенний праздник этого же года — праздник Октябрьской революции. Она вышла в тот день на прогулку вместе с Андреем Белым: «В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не только все дома были украшены красной материей — хотя население ходило в лохмотьях, не только повсюду висели гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны. Обширная Красная площадь

полна народу — как прежде бывало в Вербное воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше при царском режиме. Несмотря на голод, народ в эти первые месяцы революции уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц...»

И все это — рядом с домом в Борисоглебском переулке!

Поводов для ликования у Марины мало, но пока еще ее спасает спартанский и жизнелюбивый характер.

Ей двадцать шесть лет! Запас ее душевных сил далек от исчерпания, хотя с каждым днем все отчетливее она ощущает себя в тяжком капкане бытовых проблем. Ежедневная необходимость добывания молока для младшей дочери разрослась до безысходности. И когда Лиля Эфрон, уезжая на лето в подмосковное Быково (где, по ее сведениям, условия жизни пока еще оставались сносными), предлагает взять с собой Ирину, Марина соглашается не раздумывая.

После отъезда младшей дочери мать особенно сближается со старшей. Але шесть лет, но с самого ее рождения Марина воспитывает девочку крайне требовательно. В этом она повторяет собственную мать, — но только в этом! Душевно она близка и сердечна с дочерью и рано начинает говорить с ней как со взрослой, почти как с наперсницей. С маленькой Алей всерьез обсуждаются даже темы любви! В тетрадах Марины записан диалог, относящийся к ноябрю 1918 года:

«—Аля, если люди друг другу очень нравятся — и все-таки не целуются — что это?

— По-моему, нелюбовь!

— Нет, они очень друг другу нравятся...

— Тогда они похожи на меня.

— Какие же они?

— Неразгадочные».

Аля-Ариадна наизусть знает множество стихов и под прищотром матери неукоснительно ведет дневник, — пишет свою обязательную страничку в день!

Дневник этот свидетельствует, что дочь Цветаевой действительно была вундеркиндом, причем в редкой области: литературного слова. Когда потом — уже в преклонных годах — она вставляла в свои мемуары отрывки из этих давних

записей, не все верили в их подлинность; легче было думать, что либо записи тогда же редактировала мать, либо их поправляла взрослая Ариадна Сергеевна. «Ну да, — говорила она мне года за два до смерти (я готовила тогда к публикации ее мемуары, опубликованные затем в журнале «Звезда»), — ребенок-вундеркинд, если он скрипач или певец, обнаруживает свои таланты на глазах присутствующих, тут ничего не возразишь... Литературное дело — другого сорта. Может быть, потом, когда возьмут в руки мои тетрадки тех лет...»

Кроме прозаических записей, Аля пишет и стихи. И Марина включит их в один из своих сборников, вышедших в свет в Берлине. А Райнер Мария Рильке, немного знающий русский язык, восхитится, по крайней мере, одной строкой маленькой Али: «Марина, спасибо за мир!»

Марина как воспитатель неотступно строга. Но у нее есть свой особый крен: воспитание *героического начала*. Героика! Одно из высших качеств, какие Марина ценит в людях — и в самой себе. И девочка учится преодолевать себя, свои желания, страхи, страдания! На вопросы знакомых — не голодна ли она, Аля всегда отвечает с твердостью: «Нет!» И только в гостях, если нет рядом матери и вместо ненужных вопросов перед ней ставят миску с манной кашей, — она жадно ест, торопясь, захлебываясь, забыв обо всем на свете. А доев, робко просит тоненьким голоском: «Еще, пожалуйста!»

Один из уроков «героического» Аля тогда же записала в своей тетрадке и озаглавила: «Подвиг».

«Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услышала голос Марины: «Аля, Аля, иди скорей сюда!» Я иду к ней и вижу — на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: «Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя». Я говорю: «Я же люблю Вас душой». А Марина говорит: «Докажи это на деле!» Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: «Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?» А она отвечает: «Бери его, где хочешь. Если ты его подымеешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь».

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: «Вот молодец, моло-

дец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!» (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: «Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?» — «Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание». Я обиделась и говорю: «Марина, я Вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я Вас ненавижу»».

На самом деле Аля обожает мать. И Марина отвечает ей полной взаимностью. Вдвоем они ежедневно ходят унылыми, пустынными бульварами — это называется «продовольственные мытарства». Но случается и другое. Этим летом они посещают и кинематограф.

Сильнейшее впечатление производит на них американский фильм о Жанне д'Арк. Героиня внешне напоминает Марину: круглолицая, с ясными глазами и сложением мальчика, со смущенно-гордой повадкой. Цветаева записала, вернувшись домой: «Когда — в 1-й картине — Иоанна с знаменем в руке входила вслед за Королем в Реймский собор — и все знамена кланялись, я плакала. Когда зажгли свет, у меня все лицо было в слезах... Иоанна д'Арк — вот мой дом и мое дело в мире, “все остальное — ничто!”».

Еще в апреле 1918-го она написала цикл «Андрей Шенье» — с этой строфой:

Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу — и это страшный грех.
Есть времена — желанные для всех.
И не певец, кто в порохе поет...

Июльским днем того же года мать с дочерью стояли на какой-то площади под моросящим дождем, когда вдруг услышали петушиный крик мальчишки-газетчика:

— Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

«Смотрю на людей... тоже (то же!) слышащих, - записывает Марина вечером в дневнике. — Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза — куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил — знает): «Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!»

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу».)»

Это «помолись!» — характерно. Молитвы давно уже в неукоснительном обиходе в их доме. Ежевечерне Марина и Аля молятся о здравии ближних и дальних; бывают в церкви, ставят свечи «перед оскорбленным Богом», как называет это Цветаева, трепетно чтут праздники церковного календаря...

В конце лета — 30 августа — незнакомый человек в папаше, с лицом, потемневшим от южного загара, постучал в дверь цветаевской квартиры.

— Вы — Марина Ивановна Цветаева?

— Я.

— Ленин убит!

— О!!

— Я к вам с Дону...

Так, наконец, дошла до Марины весть о том, что муж ее жив. Остался в живых и вождь пролетарской революции — в тот день, когда Фанни Каплан стреляла в него на заводском митинге. В ответ на это покушение советская республика объявила красный террор.

Глава 19

СТЕНЬКА РАЗИН

В начале сентября Марина отважилась предпринять поездку в деревню, чтобы запастись на осень и зиму хоть какими-то продуктами.

Для проезда по железной дороге нужен был пропуск. Кто помог достать его? Возможно, Маргарита Сабашникова, потому что на липовом командировочном удостоверении, выданном Марине, значилась печать отдела изобразительного искусства Наркомпроса; там сказано было, что гражданка Цветаева едет изучать кустарные крестьянские вышивки Тамбовской губернии.

Марина везет с собой мыло, спички и десять аршин красивого розового ситца. Вся надежда не на деньги — они давно обесценились, — а на прямой товарный обмен.

Уже выехав из Москвы, в поезде, она трагически уясняет себе, что люди, с которыми ей присоветовали ехать вместе, — ни больше и ни меньше как реквизиционный красноармейский «продотряд»! И едут они в соответствии с большевистской программой насильственного изъятия продовольственных «излишков» у крестьян.

Сердце Марины холодеет. Но изменить уже ничего нельзя!

На станции Усмань, в чайной, где они обосновываются, Марина оказывается в окружении людей, обвешанных пулеметными лентами и наганами; красноармейцы косо поглядывают на стриженую «барышню» (Марина все еще выглядит моложе своих лет).

Под понуканье хозяйки чайной по утрам она моет посуду, накрывает стол, помогает на кухне, глотая слезы, моет пол.

— Еще лужу подотрите! Да не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера?

Ночью Марина спит на голом полу. А потом идет в деревню. Это тридцать верст пешком по стриженному полю — с корзинами!

Как в Москве с продажей вещей на Смоленском рынке и на Сухаревке, так и теперь с обменом в деревнях: поначалу у нее ничего не получается.

«— Нет, нет, ничего нету, и продавать — не продаем и менять — не меняем. Что было — то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться.

— Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец...

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «ситчику бы! на саван!».

И вот я в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодец, подружек, внушек, на коленях перед корзинкой — роюсь. Корзинка крохотная — и вся налицо.

— А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почему? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, ты говоришь? Де-сять? И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди — на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается:

— Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик — а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а маманька, взять, что ль? Почему, купчиха, за аршин кладешь?

— Я на деньги не продаю.

— Не продае-ешь? Как же эт так — не продаешь?

— А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят.
<...>

— Чего ж тебе надо-то?

— Пшена, сала.

— Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?..»

Вернувшись в чайную, Марина еще успевает поздней ночью, при свете луны, потихоньку от всех писать в свою неизменную тетрадочку. Десять лет спустя из этих записей соста-

вится очерк «Вольный проезд». В нем — не поздняя реконструкция памяти, а документальное свидетельство тех дней — из той самой тетрадошки, где и живые сценки, и разговоры красноармейцев, их споры о мужиках, о Боге, о евреях, — и любовно зафиксированный говор деревенских баб.

Среди прочего Марина запишет в тетрадку собственное ощущение полнейшей отъединенности, отчужденности от всех — кроме тех самых своенравных деревенских бабенок. «Всячески пария... грошовой чулки, нет бриллиантов, для начальника отряда — буржуйка, для красноармейцев — гордая барышня, из бывших. Роднее всех — бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам и одинаковая доброта: как колыбель...»

В один из дней в чайной появляется молодой парень с круглым веснушчатым лицом; васильковыми глазами и белокуростью он напоминает Марине Есенина, а всей же статью и сутью... Стеньку Разина.

Того самого, разудалого, себя не знающего, каким он явился в цветаевских стихах прошлой весны. Выясняется, что парень страстно любит Москву и звон московских колоколов. Для Марины — это уже родство! (« И любила я, любила / Колокольный звон, / Как монашки потекут к обедне...») И вот на крылечке чайной, оставшись вдвоем, парень доверчиво рассказывает ей свою жизнь, ничего не скрывая: и про солдатские подвиги на войне (два Георгия, спасение полкового знамени), и про участие в ограблении одесского банка. И еще — о своем отце, и еще — о граде Китеже. А Марина читает ему свои стихи, — не обнаруживая, правда, авторство. Стихи о той же Москве и о царевиче, и даже свое яростное: «Кровных коней запрягайте в дровни...». И «Царю на Пасху!» Красноармейцу стихи ужасно нравятся! Настолько, что крупными печатными буквами Марина переписывает их Стеньке — на память. На память дарит и книжечку о Москве, которую возила с собой. И перстень, — да не какой-нибудь, а с двуглавым орлом! И будто нет никакой вражды, никакого неодолимого классового «между», наоборот: сердечная теплота, доверие, сочувствие, ощущение братства...

* вышла из игры (нем.).

И если бы не помощь «Стеньки» и его товарищей в день отъезда из Усмани на вокзале — не уехать бы Марине с ее корзинами обратно в Москву! Ей просто было бы не втиснуться в битком набитые вагоны...

Сюжет лирических отношений с Никодимом Плущер-Сарно меняется как раз в 1918 году. В записях Цветаевой сохранилось несколько отрывков писем, адресат которых, скорее всего, Никодим, но так как в текстах ни разу не названо имя, то осторожные издатели «Записных книжек» совсем отказались от их атрибуции.

И все же хотя бы часть этих текстов должна здесь прозвучать. Они, в частности, косвенно комментируют сближение Марины осенью 1918 года с «комедиантами».

Итак, из записной книжки (черновик письма?) лета 1918 года: «Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задущенная бытом и чужой глупостью, живая только Вами, вхожу, наконец, к Вам в дом — я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб, нельзя оспаривать право человека на воздух. Я Вами дышу, я только Вами дышу. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены, Вы измучены, кто-то звонит, Вы лениво подходите к двери — «Ах, это Вы!» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, — да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня — бездна, что было? Вам все равно. Вам жарко. Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю».

То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа. <...> Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи — чтобы, когда я вхожу, человек радовался...»

Осень 1918 года: «...Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ. Это *ныло* у меня два года, а теперь *воет*...»

Наконец, текст, имеющий точную дату — 2 октября 1918-го: «Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие — умопомрачение, а я вполне трезва.

Я Вас больше не люблю.

Ничего не случилось, — жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, — никогда.

Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась — с высокомерным удивлением — и задумалась — с любопытством — о Вас и о ней.

Я — aus dem Spiel.* <...>

Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю до самой последней возможности.

Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 часов, потом в 6 часов, потом в восьмом, потом совсем перестали.<...>

Пишу Вам без горечи — и без наслаждения, Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-либо, я просто рассказываю Вам как знатоку и ценителю — и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи».

* Вышла из игры (нем.).

Глава 20

ПОСЛЕДНИЙ ФОРТ

Поздней осенью 1918 года все же приходится поступать на службу. Сделать этот шаг уговаривает Марину все тот же кротчайший и бескорыстнейший Бернард Закс. Он же находит и место службы.

Теперь Вера Эфрон берет к себе маленькую Ирину. Марина расстается с девочкой на этот раз гораздо тяжелее. В ее дневнике: «14-го ноября, в 11 часов вечера — в мракобесной, тусклой, кишашей кастрюлями и тряпками столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая слезами соболий воротник, — прощаюсь с Ириной.

Ирина, удивленно любуясь на слезы, играет завитком моих волос. Аля рядом, как статуя восторженного горя.

Потом — поездка на санках. Я запряжена, Аля толкает сзади — темно — бубенцы звенят — боюсь автомобиля...»

Накануне этого дня Цветаева впервые пришла в информационный отдел Народного комиссариата по делам национальностей.

Он разместился на Поварской улице в бывшем особняке графа Сологуба, известном всей Москве как «дом Ростовых», — то есть дом, описанный Львом Толстым в «Войне и мире». Это обстоятельство греет сердце Марины, старающейся не вспоминать, что совсем недавно отсюда выехала устрашающая «Чрезвычайка» — Чека.

К счастью, место службы — в двух шагах от Борисоглебского переулка.

Занятие в Комиссариате Марине поручено странное: составлять архив газетных статей, подклеивая их на карточки и аннотируя. Ее рабочее место — в зале с розовыми стенами и

мраморными нишами окон; две огромные занавешенные люстры свисают с потолка.

Газеты, которые ей теперь нужно читать по долгу службы, переполнены известиями о ходе войны. «Ворох папок. Есть в простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит... — Так вспоминает она эти месяцы в автобиографической прозе «Мои службы». — Под локтем — Мамонтов, на коленях — Деникин, у сердца — Колчак. — Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью».

Она не знает, что ее муж в это время уже продвигается к Москве с частями Мамонтова. Не дождавшись приезда жены и детей в Крым, он снова в начале октября ушел воевать, но известий о нем у Марины давно нет...

Отдел, где она служит, называется «Русский стол», а есть еще столы эстонский, латышский, финляндский, польский, бессарабский... Полагается приходить к десяти утра, но на опоздания здесь смотрят сквозь пальцы. И Марина успевает до прихода на работу отстоять в нескольких очередях: «за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате», еще где-то — за солью. Иногда она и совсем не появляется на рабочем месте, и ничего — сходит с рук.

Ей приходится привыкать к тому, что обращаются к ней теперь — «товарищ». Сначала с неприязнью, потом с любопытством она вглядывается в своих сослуживцев. Одни вызывают ее брезгливую иронию, другие сочувствие. Среди последних юная девушка с землисто-серым лицом, не снимающая траура по своему жениху, расстрелянному большевиками, и молодой парень — волжанин, богатырь, робкий и вечно голодный. Но Марина — самая неблагополучная из всех. В обед, когда другие идут в столовую поглощать котлеты из конины, она остается в своей зале — пьет чай из какой-то коры с сахарином: конина ей не по карману. Она и одета хуже всех: ходит в мужской фуфайке мышинного цвета и в башмаках, подвязанных веревками.

Осенью 1918 года Цветаева записала сама о себе в своей тетрадке: «Я абсолютно *déclassée**. По внешнему виду — кто

* Вне сословий (франц.).

я? 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным поясом (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.

Из-под плаща — ноги в безобразных серых рыночных чулках и грубых, часто нечищенных (не успела!) башмаках. На лице — веселье.

Я не дворянка — (ни гонора, ни горечи) и не хозяйка (слишком веселюсь), я не простонародье... и не богема (страдаю от нечищенных башмаков, грубости их радуюсь, — будут носиться!). Я действительно, *абсолютно*, до мозга костей, вне сословия, профессии, ранга. — За царем — цари, за нищим — нищие, за мной — пустота».

Ей приходится самой тащить на саночках домой два пуда мерзлой полугнилой картошки, которую выдали в Наркомате сотрудникам; нет никого, кто помог бы ей в этих тяготах. Но еще и потому ей не предлагают помочь, что на людях она всегда смеется: так проявляет себя цветаевская гордыня. Гордыня особая: она крепко держится на основаниях, которые многим показались бы совсем странными. «Самое главное, — записала сама для себя Цветаева в дневнике, — с первой секунды Революции понять: всё пропало! Тогда — всё легко».

Сахарин, и «товариш», и очереди, которые приходится теперь чуть не ежедневно выстаивать, — все это в ее глазах не сама жизнь, только ее оболочка. Подлинная жизнь скрыта от посторонних глаз. Но как раз она и помогает пересилить внешние беды.

Справа и слева окруженная газетными вырезками, Марина неотступно поглощена *своим делом*. Она обдумывает очередную сцену пьесы, в ее ушах звучат строки, строфы, рифмы. Заветная тетрадка всегда при ней, заполненная множеством вариантов, и именно *тут* бьется пульс ее жизни — той, которую она переживает по-настоящему, всерьез!

Это ее защита от кошмаров внешней жизни, она сама об этом писала:

Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцирь, мой последний форт
От злобы добрых и от злобы злых —
Ты — в самых ребрах мне засевший стих!

В зале «дома Ростовых», где она сидит, ничего не осталось от прежнего убранства, кроме розовых стен. Подняв голову от стола, сквозь стекла окон еще можно увидеть белую колоннаду флигелей особняка. А что же там — в ее тетради?

«Очаровательный розовый будуар XVIII века. На туалете, у овального зеркала с амурами и голубками, шкатулки, флаконы, пудреницы, баночки румян. На полу, прислоненная к розовой кушетке, гитара с розовыми лентами. Розы на потолке, розы на ковре, розы — гроздьями — в вазах, розы — гирляндами — на стенах, розы — везде, розы — повсюду. Сплошная роза. — На столике два бокала шампанского, в одном — недопитом — роза.

Вечер. Горят свечи. Маркиза д' Эспарбэс и герцог Лозэн играют в шахматы...»

Это «Фортуна» — уже вторая пьеса, написанная Мариной на казенной службе. Действие разворачивается во Франции конца XVIII века, герои исторически реальны, как и антураж, их окружающий. Вымышлены только акценты, но во все времена автор имел на это право. С наслаждением отодвинув газеты, Марина погружалась в тот мир, в котором, наконец, можно было дышать. Она сама населяла его интересными ей персонажами, помещала в необычные обстоятельства, — и жила в нем. Этот мир был ей стократ интереснее всего, о чем рядом горячо толковали сослуживцы.

Шесть пьес написаны Цветаевой в 1918—1919 годах, — одна за другой! Точнее, шесть она завершила, а задуманы и начаты были и еще несколько.

И ни в одной — ни слова о современности. Во всех действие отнесено к давним временам и дальним странам. Любимейший цветаевский герой — пленительно изысканный XVIII век, с его будуарами и камзолами, шпагами и королевами. Царит и побеждает тут пафос благородства и бескорыстия; герои с наслаждением ведут словесные дуэли, клянутся в любви, превозносят любовь, проклиная любовь...

Пряталась ли она тем самым от времени? О нет, скорее воевала с ним — на свой лад! В чистой ненависти жить нельзя — и неплодотворно, и саморазрушительно. Но ей, к счастью, дан был дар художника, и он вытаскивал ее из самых тяжелых ситуаций.

В пьесах, написанных в «красной Москве», ни слова о

реалиях внешнего мира, — и все же мощный заряд бунта пронизывает чуть ли не каждую реплику и поворот сюжета. Потому что рождались они посреди примитива лозунгов, посреди агрессивного невежества, даже не подозревавшего о ценностях самой жизни, — как и о подлинной свободе! На первый взгляд, все эти пьесы — о любви. Но в революционной России и тема любви зазвучала чуть ли не бунтарским синонимом самой жизни, загнанной в подполье! Декорации XVIII века наилучшим образом обрамляли картину того времени, когда торжествовала жизнь, еще не обкорнанная декретами и запретами. Жизнь во всей ее полноте, Жизнь (Марина пишет с некоторых пор это слово с большой буквы), включающая то, без чего человек не может быть счастлив: Любовь, Подвиг, Благородство.

Это ее способ выживания и противостояния. И так спасется не одна Марина. Ее старший друг Бальмонт в это же время увлеченно занят мексиканской культурой, переводом Кальдерона, старым испанским театром вообще, читает Послания Апостолов и драмы Стриндберга, занимается древнеегипетским языком...

Она продолжает писать и стихи — шуточные, горькие — самой разной тональности, в том числе и открыто гражданственные. Сборник «Лебединый стан» разрастается. Многие стихи из него в начале 20-х годов будут любовно перепечатывать эмигрантские русские газеты и журналы во Франции и в Югославии, в Турции (Константинополь) и в Польше — всюду, где оказались в ту пору уцелевшие остатки Белой Армии. Вот одно из стихотворений:

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были *вы*? — Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

Виктория Швейцер справедливо отметила эту уникальную цветаевскую особенность (речь шла как раз о революционных годах): «Кажется, она живет несколько жизней: соб-

ственную московскую, ту, на Дону, за которой следит то с надеждой, то с отчаянием, и эту «шалъную», где живые студийцы смешались с романтикой и героикой XVIII века. Вобрав в себя все это, поэт пишет в стихах и прозе, — и каждый раз это *другая* Цветаева».

Только последнюю фразу слегка поправим. То-то и феноменально, что каждый раз то была *та же* Цветаева, с *теми же* страстями и пристрастиями... Мир ее души вмещал великое множество граней...

В приведенной цитате упомянуты «живые студийцы».

Речь идет об актерах Второй и Третьей студий Художественного театра, с которыми Марину свел тот же Павел Антокольский. Он с энтузиазмом водил Марину на репетиции и спектакли, а так как студии находились неподалеку от Борисоглебского переулка, то вскоре цветаевская квартира стала своим домом для многих молодых студийцев.

Они полюбили здесь бывать, хотя хозяйка не могла их угостить ничем, кроме неизменного дружелюбия и стихов; наоборот, актеры сами рады были, когда удавалось принести пирожок для маленькой Али.

В теплое время года любимым времяпрепровождением были беседы на плоской крыше дома, — гости вылезали туда прямо из окна комнаты, которая так и была прозвана — «чердачной». Антокольский вспоминает: «С первого взгляда эта тесная мансарда показалась мне чем-то вроде каюты на старом паруснике, ныряющем вне времени, вне географических координат где-то в мировом океане. Хозяйка и ее необычный облик усиливали это впечатление. Несмотря на мебель, так много повидавшую на своем веку в московском особняке, несмотря на окружавший нас густой быт времен военного коммунизма, ощущение каюты было очень явственным, так что над крышей мерещился надутый парус и сквозь воображаемые, плохо задраенные иллюминаторы к нам проникали брызги летящего времени».

Трое студийцев, помимо Антокольского, стали особенно частыми гостями квартиры в Борисоглебском — и всех троих мы встретим на страницах ее «Повести о Сонечке», написанной почти двадцать лет спустя.

Трое, то есть: Юрий Завадский, Владимир Алексеев, Софья Голлидэй...

Красавцу Завадскому увлеченная им Марина посвятила поэтический цикл «Комедьянт» (двадцать пять стихотворений!), Софье Голлидэй — одиннадцать изяшно стилизованных, песенно-балладных («Стихи к Сонечке»). Оставят свой след в ее творчестве и другие театральные деятели, встреченные в тех же студиях, — Алексей Стахович, князь Сергей Волконский, Вахтанг Мчеделов, Евгений Вахтангов...

С актерами-студийцами она встречала Новый 1919 год, в ее борисоглебском жилище постоянно толпится театральный люд... Но чувство заброшенности посещает ее снова и снова. Много друзей никогда не могут заменить одного, заботливого и близкого сердцу.

Цикл изящнейших стихов «Комедьянт» искрится легко-мыслием молодости, откровенным кокетством и озорством. Кажется, все чувства в этих стихах — не всерьез, все признания — не более чем игра. Впрочем, грань зыбка: «легкая любовь» никогда Марине не давалась. Но как же прелестно умела она шутить в самый разгар непростой ситуации! Такой веселости позже уже не встретить в ее стихах, — не потому ли, что она безвозвратно ушла из ее жизни?

Как некогда трубадуры воспевали красоту своих дам, женщина-поэт здесь щедро поет хвалу красоте кавалера:

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
— Ах, вы похожи на улыбку Вашу! —
Сказать еще? — Златого утра краше!
Сказать еще? — Один во всей вселенной!
Самой Любви младой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша...

И еще и еще — со всей цветаевской щедростью и даже перебором! А все же и в этих стихах, и особенно в «Повести о Сонечке», воскрешающей то время, преобладает явная снисходительность к актеру-красавцу — как и беспощадная усмешка Цветаевой *над собой*. То была странная влюбленность. Любованье смешалось в ней если не с презрением, то, во всяком случае, с крепчайшей иронией:

Посмейтесь! Пусть нынешней ночью приснятся
Мне впадины чуть улыбнувшихся щек.
Но даром — не надо! Давайте меняться:
Червонец за грошик: смешок — за стишок!

(Каково было Юрию Завадскому, ставшему в советские годы знаменитым театральным режиссером, оказаться вдруг, после публикации «Повести о Сонечке» в журнале «Новый мир» (1972 год — первая часть, 1976-й — часть вторая), под биноклями интеллигентного бомонда в облике очаровательного ничтожества!)

В повести сказано о блистательном красавце ядовитое: «... Не гадкий. Только — слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно — и обидно — питаемой его красотой». Однако нет сомнения в том, что легко воспламеняющееся сердце молодой Марины было тогда встревожено не на шутку. Если настоящая буря так и не разразилась, то, скорее всего, потому, что красавец слишком был занят собой, своим премьерством в театре и в любовной сфере способен был только на игру. Отношения их, никуда особенно, кажется, не зашедшие, отражены в лаконичной сценке «Повести»: «...нам с Ю. З. наедине было просто скучно... <...> Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты... Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проведив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть, да? — пока еще — нет — и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества».

«Каменный ангел» — само название этой цветаевской пьесы, завершенной летом 1919 года, вобрало в себя характеристику героя этого увлечения Марины. Но то была не первая пьеса с ролью для каменного красавца. Первой была «Метель» (еще в декабре 1918-го Марина прочла ее студийцам-вахтанговцам); второй стала «Фортуна», далее последовали «Приключение» и «Феникс» — о Джакомо Казанове... И в каждой были блестящие роли все для того же Ю.З.! Нет сомнения, автор надеялся увидеть свои создания на театральном подиуме. Увы! Все надежды были эфемерны в том страшном году...



Алексей Стахович

Давнее знакомство с режиссером Мчеделовым, который вел Вторую студию, этой зимой переходит в дружбу. Маленький, неказистый Мчеделов относится к Марине с глубочайшим пиететом, страстно любит ее стихи. Он водит ее на свои спектакли, знакомит с интересными людьми.

На одном из спектаклей Цветаева влюбляется в замечательного старика Алексея Александровича Стаховича. Бывший светский лев и адъютант в свите великого князя, Стахович еще в 1907 году увлекся театром — и предпочел его блестящей карьере гвардейца. Одно это в глазах Марины вызывало восхищение. После спектакля Мчеделов ведет ее за кулисы — знакомиться. Стахович просит прочесть ему какие-нибудь стихи, — оказывается, он о них давно знает. Вечером Марина записывает эту сцену в дневник:

«— Но я так плохо читаю... Как все поэты... Я никогда не решусь...

(Хорошо читаю — как все поэты — и всегда решаюсь.)

— Такая Шарлотта Кордэ? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

— Благодарю за честь, но разве я перед Маратом?

Смеется. Смеемся...»

В феврале 1919-го Стахович покончил с собой. То было сильнейшее потрясение для Марины. Описывая в дневнике похороны, Цветаева, среди прочего, скажет: «Я из всех ближе всего к краю...» На похоронах она мучилась чувством вины, считая, что если бы она пришла к Алексею Алексеевичу на Рождество, как ей того хотелось, он не сделал бы рокового шага. Она мысленно спрашивала его тень: «*Без чего* вы не вынесли еще одного часа?» Ответ был для нее однозначен. Стахович не вынес существования без любви — в особом цветаевском понимании этого чувства: любви, окружающей человека нежностью, дающей ощущение, без которого человек погибает в ледяной пустыне одиночества, — ощущение своей необходимости на земле.

Когда не пишутся стихи, Марина приходит в отчаяние. «Раз я смогла перестать писать стихи, — записывает она в тетрадке, — я смогу в один прекрасный день перестать любить. — Тогда я умру». Чуть позже появляется запись: «Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и С., если жив, не

нужна». И еще запись: «Всю эту зиму я сердечно кормилась возле III Студии. Плохо кормиться возле чужого стола!»

На всю жизнь у нее сохранится суеверная (а может быть, просто целомудренная) привычка: о том, что сокровеннее всего, она умалчивает и в беседах, и в письмах. О муже она не говорит, кажется, ни с кем, это позволено только в стихах и в записях для себя. Но она не забывает о нем ни на минуту.

И вдруг на Благовещенье раздается телефонный звонок. Художник Кандауров! Он только что вернулся из Крыма. Сергей жив! И просил кланяться, а также передать, что по-прежнему ждет Марину с детьми в Коктебеле!

Колени у нее дрожат; когда она вешает трубку, она едва не падает от внезапно подступившей слабости. Благая весть — в ее любимый праздник Благовещенья! Уже полгода от мужа не было никаких известий.

Теперь Марина обдумывает возможность поездки в Крым. Но для нее необходимо иметь разрешение и много денег. Где же их взять?!

Она регулярно ходит на Сухаревку или на Смоленский рынок, пытаясь выменять вещи на продукты и табак, — и чаще всего безрезультатно: ее вечно обманывают; «в моих руках и золото — железо», — горько шутит она.

В один из таких дней она встречает на улице Бориса Пастернака. У того под мышкой сочинения Владимира Соловьева. Он несет их продавать, поясняя: в доме совсем нет хлеба...

Глава 21

СОНЕЧКА

К весне 1919 года в доме нет уже и дров; приходится рубить и разламывать шкафы, а также чердачные балки. Марина подтягивается на руках за веревку наверх, — лестница уже сожжена. Одна из записей тех дней в цветаевской тетрадке: «На днях разбился верхний свет в столовой. Стекла вдребезги, кирпичи, штукатурка, звон. Мы с Алей еле спаслись...» Крыша грозила обвалами...

В один прекрасный день выясняется, что разрешения на выезд к мужу все равно не дадут: Феодосия занята белыми! Через месяц к уже устойчивому чувству безнадежности прибавилась новая беда — потеря денег.

Марине кажется, что наступил последний предел. И в Вербную субботу ей приходит мысль о самоубийстве: «Повеситься?» — запишет она в дневнике. В Страстную субботу — совсем горько: она так любит этот праздник! «Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (так вспоминает Цветаева в «Повести о Сонечке»), а сказала Але:

— Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, — нечего лезть к Богу — как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдём, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет — а ляжем с тобой спать — как собаки!

— Да, да, конечно, милая Марина! — взволнованно и убежденно залепетала Аля. — К таким, как мы, Бог сам должен приходиться! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать — бывшую прислугину, потому что жили тогда в кухне. <...>

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Аля, как была в платье — спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества... Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы — начинаю четвертую — и столько стихов — и такие хорошие — и ни одна собака...

И вдруг — стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском — встаю, тем же — не разобравшись на руки и ноги — вертикальным пластом пробегая темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку — на пороге Володя: узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

— Володя, вы?

— Я, М.И., зашел за вами — идти к заутрене».

И Алин комментарий уже на улице: «Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет...»

Но и этот единственный, по-настоящему преданный друг, Володя Алексеев, вскоре уедет на Юг...

Спасение от ледяного круга одиночества приходит в облике маленькой актрисы, которая подошла к Марине в студии после чтения «Метели» еще незадолго до Нового года. Но тогда они только познакомились, а сблизились и подружились только весной, в апреле. И волей судеб через два с лишним месяца расстались навсегда.

Дружба продлится меньше трех месяцев, но оживит почти омертвелое сердце Марины. Сонечка принесет ей живую воду преданной нежности, без которой одиночество может и совсем задушить человека...

На первый взгляд, есть некая загадка в том, что Софья Евгеньевна Голлидэй заняла столь видное место в жизни и памяти Марины Цветаевой. Слишком не похожа она на других ее подруг. Софья Парнок, Ольга Чернова-Колбасьева, Елена Извольская, Анна Андреева, Саломея Гальперн — все это были женщины волевые, деятельные, независимые, «амазонки» по духу, из породы самой Цветаевой.

Сонечка — явно иная. Ее прелесть неуловима. Она «вне ума при уме» — это особая цветаевская характеристика; «умный человек» и умничающий «умник» в ее глазах не одно и то

же. Похожая на четырнадцатилетнего подростка актриса не поражала интеллектом, она была *только* талантлива, добра и сердечна — в том числе к маленьким дочерям Марины. «Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа, — скажет о ней Цветаева. — Она всё отдавала, всё понимала, всех жалела».

В Голлидэй — задор мальчишки и женственность, угловатость и взбалмошность, своенравие и любвеобилие. Похоже, что как раз в этом-то смешении качеств, не слишком удобных для общежития, Марина и увидела незаурядность молодой актрисы. То, что для других было лишь проявлением дурного характера, в глазах Марины — органика, которую нельзя судить по обычным меркам. И у Елены Оттобальдовны Волошиной, и у Анны Ильиничны Андреевой, и у ее дочери Веры Андреевой Цветаева узнавала, отмечала и любила незапрограммированность реакций, — проявление спонтанной, неподдавленной «природности»... В век прагматизма и «машинной цивилизации» Цветаева любит тем, что эпоха и общество разучились видеть и ценить живую жизнь.

Не меньше Марины Сонечка устала от одинокой борьбы за выживание в чудовищных обстоятельствах революционной Москвы. Хрупкая, похожая на подростка актриса — своенравная, с кусачим характером, она, как и Марина, в сущности, едва жива под тяжестью свалившихся на нее испытаний. Но кроме того, она истинная актриса, как и Марина — истинный поэт, а это означает, что у той и у другой сердце лишено защитного экрана. Обе они умеют презирать внешние неустройства, но тем острее страдания души. А ведь у одной на руках голодные дети, у другой — добровольно взятый на себя долг помощи сестрам...

Охотнее всего Сонечка говорит с Мариной о любви — захлеб, сверкая глазами и обильно проливая слезы. Она тоже была влюблена в эти месяцы в Ю.З. (и тоже безответно), а земная любовь для нее — высшая ценность существования. «Есть любовь — есть жизнь, нет любви...»; «...революция — не революция, пайки — не пайки, большевики — не большевики — все равно умрет от любви, потому что это ее призвание — и назначение» — так написала о Сонечке Цветаева. Но то же она говорила не раз и о себе самой! В жалобных речах



Софья Голлидэй

Сонечки она услышала хорошо знакомое ей страдание неприкаянности, узнала непереносимое чувство сердечной заброшенности. Узнала собственное жаркое сердце, всегда открытое любви. То была еще одна встреча с человеком ее родной органики. Первой была сестра Ася, второй — Майя Кювилье, третьим стал Константин Бальмонт, с его непрерывной чередой горячих влюбленностей, всякий раз до глубины потрясавших его существо. И вот теперь — Сонечка...

С едва набухающими весенними почками Голлидэй появилась в доме Марины, а в начале июля они уже прощаются. Сонечка уезжает из Москвы с кем-то, кто показался ей самым необходимым. Марина дарит ей на прощанье платье, бусы, кольца — и остается с ножом в сердце.

6 июля 1919 года она читала «Фортуна» во Дворце искусств, как теперь называли бывший особняк Сологубов. Наркомат по делам национальностей несколько месяцев назад переселился в другое место.

И волей случая она читала пьесу в той самой «розовой зале»! Еще совсем недавно тут стоял ее «Русский стол», за которым она клеила газетные вырезки и писала глупейшие аннотации, — стол, за которым она создавала эту самую «Фортуна»!

«Читали, кроме меня: Луначарский — из швейцарского поэта Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный — свое собственное, т.е. Маяковского — много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из шеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но с «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

«Фортуна» я выбрала из-за монолога в конце:

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!

Так отчетливо я никогда не читала.

...И я, Лозэн, рукой белей, чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный:
И я, Лозэн, вешал, что полноправны
Под солнцем — дворянин и дровосек!..

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?!)

Монолог дворянина — в лицо комиссару — вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не... хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, — а не всей Лубянке, 2!

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, со случайными знакомыми. Если бы не пришли, — одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда — везде».

Вскоре Цветаева узнала от Бальмонта, что заведующий Домом искусств Рукавишников оценил чтение «Фортуны» в шестьдесят рублей. Это была стоимость трех фунтов картошки — или трех фунтов малины — или шести коробков спичек.

«Я решила отказаться от них — публично — в следующих выражениях, — писала Цветаева в прозе «Мои службы», — 60 руб. эти возьмите себе... а я *на свои* 60 руб. пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Глава 22

ЧЕРДАЧНОЕ

Пьесы, роли, красавцы, любви, дружбы...

Но на дворе год — самый страшный из всех революционных; по словам самой Цветаевой — «самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов» — 1919-й.

Давно спалили на дрова заборы, оклеенные листовками, воззваниями и декретами, сожжены многие деревянные городские строения, оказавшиеся без хозяев. Расташили уже на дрова и «шоколадный домик» в Трехпрудном переулке, построенный из прекрасной мачтовой строевой сосны.

Зимой жители с трудом пробирались через снежные сугробы, летом на московских тротуарах под ногами скрипит лужа от семечек. Транспорт давно бездействует; изредка появляющиеся трамваи облеплены пассажирами, свисающими, как гроздь, с площадок. Солдаты поздними вечерами в темных переулках требуют с прохожих документы, — и нередко грабят. Даже летом у москвичей — серо-зеленый цвет лица, измученный и затравленный взгляд...

Серьезные перебои с продовольствием и дровами начались в Москве еще перед Февральской революцией; но после октябрьских событий 1917 года голод начал активное наступление и к концу 1918-го приобрел катастрофические размеры. Магазины зияли пустыми полками, а там, где появлялись продукты, мгновенно вырастали длиннейшие хвосты очередей. Инфляция росла не по дням, а по часам.

«Театральные дружбы» помогли Марине душевно пережить дикие тяготы голодного и холодного существования в «красной Москве». Об этих тяготах известно многое, но томов воспоминаний тяжеле ликующая реплика шестилетней Али осенью восемнадцатого года:

— Мама! Он подарил мне четыре куска сахара и кусок — вы только подумайте! — *белого хлеба!*

Марина записывает в тетрадь очередное изречение старшей дочери: «Марина! Когда у нас *совсем* нечего будет есть — даже гнилой картошки, — я сделаю чудо. Я теперь его не делаю, потому что раз мы *едим* гнилую картошку — значит, ее можно есть?»

Двухлетняя Ирина жалобно просит у любимой Галлиды — так она зовет Сонечку Голлидэй:

— Сахай давай! Кайтошка давай!

Только по отрывочным дневниковым записям Цветаевой, сделанным в 1918—1919 годах, восстанавливаются истинные размеры голода, переживавшегося семьей. Вот одна из таких страшных записей: «Кому дать суп из столовой: Але или Ирине? Ирина меньше и слабее, но Алю я больше люблю. Кроме того, Ирина уж всё равно плоха, а Аля еще держится, — жалко. Это я для примера. Рассуждение (кроме любви к Але) могло пойти по другому пути. Но итог один: или Аля с супом, а Ирина без супа, или Ирина с супом, а Аля без супа.

А главное в том, что этот суп из столовой — даровой — просто вода с несколькими кусочками картошки и несколькими пятнами неизвестно какого жира».

В Москве действовали закрытые распределительные пункты — для предприятий и организаций. Лишь изредка появлялись в газетах сообщения вроде следующего: «23-го ноября хлеб будет отпускаться по купону от 11 октября хлебной карточки на два дня; для лиц 1 и 2 категории — 1 фунт, 3-й категории — 3/4 фунта и 4-й — 1/3 фунта» (газета «Правда», 22 ноября 1918 года). То есть купон отоваривался (даже по этой страшной норме!) чуть ли не через полтора месяца. И к какой «категории лиц» принадлежала в ту пору мелкая служащая Марина Цветаева? В рубрике «Положение с продовольствием» (той же большевистской газеты) можно было прочесть о выдаче на купон одного коробка спичек и чечевицы — от одного до одной четверти фунта (опять же в зависимости от «категории»!). Зато *по продовольственной* карточке «с предъявлением паспорта» предлагалось приобрести меховые и бархатные шляпы...

Но Марина давно уже и не служащая.

Наркомат по делам национальностей она оставила еще в

апреле. Еще день попыталась работать в другом учреждении с диким названием «Монпленбеж», но не смогла дотянуть даже до конца первого рабочего дня. Внезапно для самой себя встала, из последних сил скрывая градом катившиеся по щекам слезы, сказала начальнице, что отлучится на обед, — и вышла на улицу.

С чувством освобождения осознав: не понимаю, не могу и не смогу никогда!

Осенью 1919 года в их рационе только овощи; случается, что по пять дней подряд в доме нет и хлеба. Знакомый Никодима анархист Шарль унес Сережины золотые часы, и от него — ни слуху ни духу, потом он обещал принести деньги, потом обнаглел и начал кричать, что за чужие вещи не отвечает. В итоге — ни часов, ни денег.

Ранним утром Марина топит плиту. С водой — проблемы. За ней приходится идти к соседке, но так, чтобы не увидел ее муж: с черного хода. Возвращается счастливая: с полным ведром! Хватит и для стирки и для мытья посуды и пола.

Запись в тетрадке: «Брянский вокзал — за молоком — 5 1/2 ч. утра... Небо в розовых гирляндах, стальная (голубой стали) Москва-река, первая свежесть утра, видение спящего города. Я в неизменной зеленой крылатке, — кувшин с молоком в руке — несусь... — Анна Ахматова! Вы когда-нибудь вонзались, как ястреб, в грязную юбку какой-нибудь бабы — в 6 ч. утра — на Богом забытом вокзале, чтобы добыть Вашему сыну — молоко?!»

А в семь утра она уже в очереди на Плющихе за разрешением на усиленное питание для детей. Ждать у подъезда Плющиха, 37, — не позволяют. Записывают номера. Марина слушает разговоры прислуги и нищих, — впрочем, публика здесь самая разная, и, несмотря на все, Марине интересно! Она сама и разговаривает, и наблюдает, а вернувшись — опишет в своей тетрадке это утро. «Рядом длинноносая старая сестра милосердия с голубыми глазами. — Девушка вроде солдата — извозчик — мальчишка, задирающий пса, — столетняя бабка — учительница, говорящая про финикиян, — деревенская баба вроде медведя — элегантная барышня в синих носках (мороз!) — 0, как всё великолепно! — И восход. — Смеюсь. — Через час смех проходит, нестерпимо холодно, холод идет по



Дочери Цветаевой Аля и Ира. Москва. 1919

ногам вверх по всему телу. Перестаю говорить. В 9 часов выпускают. Потом медленное черепашьё, паучье восхождение по ступеням четырехэтажной лестницы. В итоге — в 4-м часу, стоя в блаженном № 86 перед докторшей Лавровой, которая стучит кулаком по столу, — плачу. Платок весь промок, только размазывает слезы. — “Но скажите — когда же мне прийти? Вы говорите — раньше. Я была здесь в 7 часов. — Не сердитесь, только объясните...”»

Потом надо пробежать по комиссионным — «не продано ли хоть что-нибудь?», по кооперативам — «не выдают ли что?».

В доме остановились часы; приходится спрашивать время у прохожего, чтобы не опоздать за казенными детскими обедами, которые до поры до времени еще выдают. Затем — маршрут: Молчановка, 34, занести посуду, Старо-Конюшенным на Пречистенку за питанием по протекции госпожи Гольдман (жены адвоката, живущего на первом этаже), оттуда в Пражскую столовую — обед на карточку, подаренную на месяц соседкой со двора — женой сапожника (у нее самой пятеро детей, но одна из дочерей на время уехала)...

Наконец, обвешанная кувшинами, судками и жестянками — ни пальца свободного! — по черной лестнице домой. По возвращении — скорее к печке! Раздуть, пока совсем не погасла; руки Марины в ожогах от горячих углей. Все обеды сливаются в одну кастрюльку: получается то ли суп, то ли каша. Госпожа Гольдман тайком от мужа присылает иногда Марине для детей супу.

Иногда вместе с Мариной в поход за провизией увязывается Аля. В этом случае младшую девочку приходится привязывать к стулу, — с тех пор, как она однажды, оставшись одна, съела из шкафа полкочна сырой капусты. Осенью 1918 года Марина поссорилась с Лилей Эфрон — и теперь больше не с кем оставить дома малышку!

На какое-то время Алю удалось устроить в детский сад. Там ее не так уж плохо кормят, но у совестливой девочки сердце разрывается, когда она видит хлебные корки, остающиеся после обеда на столе. Она чуть не плачет, рассказывая об этом матери.

— Ах, Марина! *Полный стол!* И большие! Ведь это было бы для Вас счастье! И они никому не нужны, их бросают в помойное ведро!

С трудом — и не без сожаления — мать убеждает Алю не приносить этих корок. Ей кажется, это было бы уже «бесстыдством бедности»...

Снова надо пилить и рубить дрова на завтра. Уже сожжены не только шкафы, но и часть перил черной лестницы...

Древний способ борьбы с чувством голода — сон. И Марина теперь рано укладывает детей. Двухлетняя Ирина спит, укутанная так, что ее не видно, и не в кроватке, а на синем кресле, — кроватку не протащить в дверь кухни, где они теперь живут.

Поздний вечер. Теперь можно самой залезть в постель, не раздеваясь, в том же бумазейном платье, в котором она ходит днем. Но в эти часы Марина счастлива, как только она умеет, — лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда хлебом. Теперь можно, наконец, читать и писать. Рифмы, строфы, острые мысли приходят в голову и днем, когда присесть к столу некогда. И потому все стены дома исписаны строчками стихов и заметками для записной книжки.

Осенью 1919-го она пишет большую поэму «Царь-девица». А читает Гёте «Dichtung und Wahrheit», погружаясь в уют старого немецкого дома, где были игры в фанты, чтение книг вслух... Марина читает и мечтает, как бы она воспитала своих дочерей, сложись судьба иначе! Не просто с гувернантками — еще и с танцмейстером!

По ночам она иногда спускается вниз в страшную ледяную гостиную — за книгой, которую вдруг страстно захотелось перечитать.

Зима наступает ранняя. В конце октября выпадает снег, начинаются холода. В том же октябре заболевают изнурительным коклюшем сначала Аля, потом Ирина.

Кто, кроме сердобольных соседок, помогал ей в эти страшные холодные и голодные недели? Актерского братства, ровившегося вокруг нее всего год назад, уже нет: кто уехал, а кто отошел, у всех сейчас свои проблемы. Изредка бывает актриса Звягинцева, с которой Марина познакомилась этим летом, она тоже пишет стихи и любит Маринины. Еще иногда бывает брат Марии Самойловны Цетлиной — приносит спички и хлеб. С Никодимом они все же видятся, но крайне редко.

Брат Андрей и сестра Лёра, сестры Эфрон — где они? Их нет рядом. У всех свои беды, свои нелегкие обстоятельства...

«Одна как дуб, как волк, как Бог — среди всяческих чум Москвы 19 года...» — запись в дневнике Марины.

5 октября 1919 года в Коктебеле было получено письмо от Сергея Эфрона, помеченное «Орел — Курск». Эфрон сообщал Волошиным, что перешел в 3-й Офицерский генерала Маркова полк и что настроение у него вполне оптимистическое. «Мы продвигаемся к Мурому, — писал Сергей. — В Москве будем к Рождеству...»

Если бы! Но в тот же день, когда было написано это письмо, 3-й марковский полк, выгрузившийся в двадцати верстах от Орла, двинулся навстречу красным латышским стрелкам. Завязались кровопролитнейшие бои, и в районе Кром марковцы потеряли треть своего личного состава. Вскоре они были отведены в резерв в Курск. Им еще удалось продвинуться до Шигров, но затем опять началось отступление. Увы! Рождество марковцы встречали не в Москве, а на Кубани, в станции Кушевской. А еще через полтора месяца в марковском офицерском полку оставалось в живых меньше сотни человек!

К счастью, в их числе был подпоручик Сергей Эфрон...

Обычная бодрость в ноябре изменяет Марине. В иные дни ей кажется, что она никогда, ни-ког-да уже не увидит ничего другого: высокое окно в потолке, окаренко на полу, по всем стульям детские платья, тряпки, пила, топор и утюг, которым она бьет по топору...

Трагической осенью 1919 года время словно замедляет свой ход, — как всегда, когда оно заполнено страданием.

Доброжелатели твердят Марине, что она не справится с прокормом детей, но что в государственных детских учреждениях теперь питание вполне приличное и надо попробовать устроить Ирину в ясли. Она и пробует. Но оказывается, что власть помогает только работающим: необходима справка о том, что мать служит.

Такой справки ей негде взять.

Она отправляется во Дворец искусств.

Сидит в золотой зале, на голубом шелковом стуле, в руке узелок с судком, в ногах кувшин.

Мимо проходит Иван Рукавишников, — поэт. Он сын нижегородского купца-«миллионщика», в Нижнем Новгороде у него дом-дворец. Теперь он заведует Дворцом искусств, здесь же и живет. Все знают, что он ест на гербовой посуде Сологубов, раздобревшая жена его меняет туалеты по три раза за вечер на глазах у всех — платья шелковые, пелерины меховые. Теперь он проходит мимо Цветаевой и не кланяется. Проходит второй раз, потом третий. Наконец спрашивает: — Что Вам угодно?

Марина излагает сущность дела. И слышит в ответ:

— Вам надо обратиться к кому-нибудь, кто Вас лично знает, потому что я не знаю, чем Вы занимаетесь.

— То есть как? Вы же отлично знаете, что я занимаюсь литературой!

Цветаеву всегда спасало в беде чувство юмора; этот раздутый индюк обидеть ее, конечно, не может. Но и проблем решить не удастся....

И тут до нее доходят слухи о том, что в Кунцеве открылся детский приют и что во главе приюта стоит очень хороший человек и снабжает этот приют довольствием американская благотворительная организация АРА. Правда, для того, чтобы туда приняли детей, их надо выдать за чужих!

Но Марина уже в панике. Ибо она соглашается с этими доводами. И 14 ноября совершает непоправимый шаг. Сопровождаемые Лидией Александровной Тамбурер, Марина с дочерьми едет в Кунцево.

Она горько плакала год назад, отдавая Ирину на время сестрам Эфрон; можно представить себе ее сердечные муки теперь!

Аля, без которой она уже не могла себе представить дня, воспитанная на героике и готовности к подвигу, стойчески принимает материнское решение как необходимость — без слез и упрека. Верная себе, Марина приготовит ей письмо, которое девочке будет разрешено прочесть только в приюте, когда они расстанутся.

Невозможно представить себе ее прощание с детьми в Кунцеве.

Спустя месяц мать приехала навестить девочек. И застала старшую полуживой — в жару, в тифу, в малярии, в чесотке. Маленькая Ирина пока держалась на ногах. Марина схватила Алю в охапку, на улице вскочила с ней на руках в проезжавшую мимо повозку; их довезли до ближайшего красноармейского госпиталя.

Ирину собиралась забрать к себе Вера, но она откладывала со дня на день поездку за девочкой: были на то серьезные причины.

И опоздала. В начале февраля Ирина в приюте скончалась.

Марина узнала об этом случайно.

На Собачьей площадке, рядом с Борисоглебским, располагалась Лига спасения детей. В то утро Марина в очередной раз пришла туда со своими судками. Около здания стояла рыжая лошадь, запряженная в телегу. Тетка, сидевшая в ней, узнала Цветаеву — и сообщила страшное известие.

Только спустя четыре дня она сообщает о случившемся Вере Звягинцевой. В первых же строках ее письма — главное, страшное: «И в этом виновата я».

Марина казнит себя, и остроу этой самоказни легко себе представить, зная цветаевскую безмерность. «Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно...» Она просит: «Если можно, никаким общим знакомым — пока — не рассказывайте, я как волк в берлоге прячу свое горе...»

Другое письмо написано той же адресатке уже в конце февраля: «Милая Вера, я совсем потеряна, я *страшно* живу... ночью мне снится во сне Ирина, что — оказывается — она жива — и я так радуюсь... все во мне изгрызено, изъедено тоской...»

Кто же мог предположить, что во главе приюта окажется мерзавец, грабивший детей, набивая собственный карман! Но сыграла свою роль и болезнь Али, не спадавшая больше месяца подряд температура! Марина не забыла о младшей девочке, терзалась, но все откладывала поездку, — и ведь со дня на день туда собиралась ехать Вера Эфрон...

Теперь ей даже не к кому припасть на грудь со своим страшным горем. Она не может заставить себя сказать о беде единственному родному человеку, который по-настоящему согревает ее сердце, — семилетней, обожающей мать Але. Та узнает о гибели сестры лишь спустя несколько дней, случайно прочитав в материнской тетради по-французски: «Irina est morte» — и догадавшись. Шемящая тоска сжимает Марине горло: «...никто меня не любит, никто — в упор — не жалеет, чувствую всё, что обо мне думают, это тяжело... Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил... Люди заходят и приносят Але еду — я благодарна, но... никто — никто — никто за все это время не погладил меня по голове. С каким презрением я думаю о своих стихах!»

Впоследствии Марина будет обвинять сестер Эфрон: они не помогли ей спасти девочку. Сестры, со своей стороны, винят золовку; в их глазах она плохая мать, совершенно не умеющая заботиться о детях. Боль невозвратимой потери мешает обеим сторонам видеть ситуацию трезво. Ибо, как это слишком часто в жизни бывает, обе стороны правы и неправы одновременно, у той и другой — свои невыдуманные причины, смягчающие и объясняющие их поведение. Но в тяжелой ситуации трагическая роль всегда принадлежит слившимся воедино внешним обстоятельствам и личным обидам.

На самом деле обе сестры помогали Марине как могли, — до ссоры. На все лето 1918 года Лиля увозила Ирину с собой в деревню, где ей тогда удалось прилично устроиться. Но той же осенью Марина забрала дочь обратно в Москву под предлогом предполагаемого отъезда в Крым. Привязавшаяся к малышке как к родной дочери Лиля настолько страдает от этого, что сама себе клянется — больше не брать девочки. Впрочем, не совсем так; хуже: Марине поставлено оскорбительное условие: Лиля готова заботиться об Ирине, но пусть та останется с ней уже навсегда!

Пока в Борисоглебском была няня, пока еще приходила молочница Дуня, бесследно исчезнувшая осенью 1919 года, Марина кое-как справлялась. Но оставшись в «красной Москве» в условиях до предела отяжеленного быта, без прислуги, она увидела себя в полном тупике. Осенью 1919-го прокормить двух детей она уже не могла.

Она знала о намерении сестер поехать в приют и забрать Ирину. Они не успели этого сделать, — не по нерасторопнос-

ти. Вера к этому времени ослабла настолько, что еле ходила, держась за стену, Лиля жила в условиях, не позволявших ей взять маленького ребенка. Все сплелось воедино, все совпало: размолвка, оскорбительное условие Лили, помешавшее Марине в трагические недели воззвать к помощи сестер.

По меркам *простой женщины* Цветаеву можно винить, если судилище такого рода не безнравственно само по себе. В Марине прирожденно не было множества практических умений, и, кто знает, будь Ирина дочерью сапожника, что жил во дворе дома в Борисоглебском, у нее, возможно, оказалось бы больше шансов выжить?.. Впрочем, и это сомнительно...

Зимой 1919–1920 года трудности с продовольствием переходят все границы. Столичные магазины по-прежнему пусты, но теперь невозможно купить что-либо и на рынке. Запрещено ввозить муку и зерно из деревни. На вокзалах идут настоящие битвы солдат с так называемыми «мешочниками». Существовали, правда, еще черные рынки, но покупать там было крайне опасно: кара за недозволенную куплю-продажу была самая революционная: смертная казнь!

После смерти Ирины, благодаря ходатайству друзей, Цветаевой стали выдавать академический паек. Проблема еды в доме не исчезает, но смягчается ее острота.

Благодаря появившимся академическим пайкам уцелели многие. В воспоминаниях Бориса Зайцева:

«— В среду выдают пайки!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками, юристами. А потом наступит, наконец, блаженный час, нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, сахару, кофе, спичек, папирос...»

Эпидемия сыпного тифа добралась с юга до Москвы; гробов давно нельзя было достать, и, когда по заснеженным улицам везли в санках закутанные тела, трудно было отличить трупы от живых людей. Но и летом не стало легче. Голод захватил плодороднейшие области на юге и востоке.

Трагедию довершила сильнейшая засуха.

Глава 23

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

И при всем том голодная, замерзающая, запуганная красным террором Москва продолжала жить. На собраниях пролетарских поэтов при свете керосиновых ламп авторы с энтузиазмом читали свои произведения. В старом особняке на Тверском бульваре разместился Союз писателей, созданный по инициативе Михаила Гершензона. Председателем писательского правления стал поначалу прозаик Борис Зайцев, позже поэт Юргис Балтрушайтис — неулыбающийся, почти всегда угрюмый, в черном сюртуке, застегнутом наглухо, — в высшей степени порядочный человек. Функционировали литературные кафе, возникали новые кружки и студии, регулярно заполнялся публикой зал Политехнического музея, и всюду выступали поэты, прозаики, философы...

Маргарита Сабашникова жила какое-то время совсем неподалеку от Борисоглебского переулка; ей предоставили в верхнем этаже флигеля «дома Ростовых» (превратившегося во Дворец искусств) чудесную комнату со старинной мебелью и синей кафельной печкой. Во флигеле образовалась тогда некая колония художников и актеров, и появление здесь Сабашниковой, возможно, послужило поводом для новых знакомств Цветаевой; с художниками Милиотти и Вышеславцевым, которые тут жили, вскоре ее свяжут тесные дружеские отношения.

Сабашниковой предложили комнату, скорее всего, потому, что она сумела устроиться на службу в театральный отдел Наркомпроса, возглавлявшегося Луначарским. В ТЕО сотрудничали многие известные литераторы и ученые; среди прочих отсиживал тут положенные часы — в шубе и боярской шап-

ке — философ Николай Бердяев. Согреваясь стаканом горячей воды, он увлеченно работал здесь над своей книгой «Смысл истории», а затем и над книгой о Достоевском.

Сабашникова описала потом эти месяцы в своих интереснейших мемуарах. Она рассказала, в частности, о еженедельных собраниях узкого круга друзей Бердяева на его квартире в Малом Власьевском переулке. Там читались доклады, проходили собеседования на самые необычные темы. Гости сидели в шубах, выдыхая пар изо рта, но к чаю подавался неизменный пирог из картофельной шелухи, — правда, год от году он сокращался в размерах. Собирались интереснейшие люди, выступал, например, священник Флоренский; и продолжались эти встречи пять лет подряд, несмотря ни на что.

Шумным успехом Бердяев пользовался в Московском университете, — в 1920 году он читал там лекции по философии истории и философии религии, а также вел семинар о Достоевском. На публичные его лекции, хотя о них не сообщали газеты, невозможно было попасть, — он вспоминал, как однажды сам с трудом пробрался сквозь запруженную народом лестницу в зал, где должен был читать доклад о книге Освальда Шпенглера «Закат Европы». По словам Бердяева, ни до, ни после того он не видел больше аудитории слушателей, так жадно ловивших каждое его слово.

Приехавший в те месяцы в революционную столицу немецкий журналист Пауль Шеффер восторженно говорил Сабашниковой: «Вы не представляете себе, в какой духовной роскоши вы живете здесь в Москве! Эта разносторонность и активность интересов на Западе больше не существует...»

Душевная боль и тяжкое одиночество душат Марину.

В феврале и марте 1920 года не написано ни одного стихотворения — при том, что творчество всегда было для нее спасительной соломинкой. Она нуждается в живом сочувствии; ей необходим хоть кто-нибудь, кому она могла бы уткнуться в плечо со своей бедой, кто-нибудь, кому она была бы нужна. Знакомых множество, но не исчезает ощущение ледяной заброшенности, *людной пустоши*, — так скажет она об этом в письме к сестре Асе.

В мае приезжает в Москву Александр Блок. Четыре года назад Марина горевала, что не увидела его в Петрограде. Те-

перь вместе с Верой Звягинцевой она идет 9 мая на вечер поэта в Политехнический музей.

И — случай! — она оказывается в толпе у входа, совсем рядом с ним. Видит его впалый висок и слипшиеся бедные волосы, оставшиеся от некогда высокой пышной шевелюры. На секунду появляется искушение — передать Блоку приготовленный синий конверт со стихами, написанными ему еще в 1916 году. Конверт в кармане — руку протянуть... Но — не решилась! Конверт будет передан в этот вечер поэту через кого-то из знакомых. Уже из зала Марина сама увидела, как синий конверт был положен на стол перед Блоком; тот взял его и убрал в нагрудный карман — «у самого сердца, в котором я никогда не буду». Так записала она вечером в свою тетрадку.

Второй раз Блок выступает через четыре дня, на Поварской во Дворце искусств. И там, теперь уже во время перерыва, за кулисами, художник Милиотти подведет к поэту трогательную, большеглазую семилетнюю Алю. Сделав изящный реверанс, девочка передаст Блоку еще один конверт. Можно предположить, что теперь в нем лежит стихотворение, написанное только что, после выступления поэта в Политехническом, прямо датированное: «26 апреля 1920 года».

Какой живой портрет в этом цветаевском поэтическом отклике — и сопереживание — и абсолютный слух!

... И вдоль виска — потерянным перстом —
Всё водит, водит... И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать — и как *не* встанет...

Так, узником с собой наедине
(Или ребенок говорит во сне?),

Предстало нам — всей площади широкой! —
Святое сердце Александра Блока.

Блок принимает от Али конверт улыбаясь. Но — никакой реакции больше! Марина втайне наверняка на нее надеялась... Стихи были подписаны. И при других обстоятельствах...

Трудно было, впрочем, не заметить, в каком состоянии

находился Блок во все время его приезда в столицу. Он не просто утомлен, он почти болен, ему явно не до встреч и новых знакомств; видно было, что выступал он через силу...

Но и Марине настолько душевно тяжело, что впору уцепиться за соломинку.

Как раз в этом же мае ее бедное сердце, судорожно искавшее опоры, тепла, участия, вспыхнет очередным увлечением. На этот раз предметом его станет художник Николай Николаевич Вышеславцев.

Он живет в том же флигеле Дворца искусств, где жила и Сабашникова; как и она, служит в Наркомпросе, и в том же изотделе. То была личность несомненно яркая. Вышеславцев умен, широко образован, учился живописи и графике в Москве и Париже, бывал в Италии, прекрасно говорит по-французски, участвовал в войне, был ранен. Теперь он расписывал панно, рисовал плакаты, оформлял обложки книг. В 1920 году во Дворце искусств была организована выставка его работ.

Вышеславцев писал портреты поэтов и своих друзей. Им исполнен графический портрет Марины, помеченный 1920 годом, — он тем более ценен, что в цветаевской иконографии портретов, сделанных с натуры, очень мало.

Вместо того чтобы стать утешением, новая влюбленность принесла Марине новые страдания. Ярче и достовернее всего об этом свидетельствуют стихи. Цикл «Н.Н.В.» не был окончательно оформлен, но в нем несколько истинных жемчужин.

Какой контраст тона в сравнении с циклом «Комедиант»! Какие горькие мотивы вдруг зазвучали здесь — и какие блистательные грани цветаевской души неожиданно высветились!

Мы читаем эти стихи — и, увы, прощаемся с молодой Мариной на взлете ее поэтического искусства: первая вершина достигнута. Вторая будет покорена в середине 30-х годов. Но уже к концу этого 1920 года от прелестной прозрачности стиха ранней Цветаевой не останется и следа... Трагическое начало окончательно изменит сам тембр поэтического голоса Марины.

Судя по стихам цикла «Н.Н.В.», художник оказался не просто стойким моралистом, но и жесткосердым человеком;

во всяком случае в стихах, к нему обращенных, Марина сначала шутя, затем все более всерьез и, наконец, гневно *защищается!* Даже не от упреков в легкомыслии, но от презрения! Какие, однако же, прекрасные строки высекает в ней оскорбленная гордость бескорыстного сердечного порыва! Это Вышеславцеву адресовано стихотворение:

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной — не черни
Галчонка — белизной.

А впрочем — что ж, коли не лень!
Но всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь — белей тебя!

И ему же два варианта стихотворения с одинаковым началом: «Пригвождена к позорному столбу...» И еще одно, в котором — строки:

Ты этого хотел. — Так. — Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, целую.

В грудь оттолкнувшую — к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал — тишину...

Именно что — тишину...

Уроки Марина всегда выучивала быстро, а приправа горечью помогает усвоению преподанного. От одного ей не суждено до конца дней своих излечиться: от собственного легко вспыхивающего восхищением сердца. Все уже зная, она будет снова и снова страдать от жалкого племени худосочных сердцем мужчин. Она столько раз говорила об их пугливости (еще в том же письме Понтику!), о том, как им трудно предположить в женском сердце бескорыстие! Поэтому и трудно, что, сами вечно мечтающие о *покорении*, они упорно и тупо читают ту же жажду в женском сердце, столкнувшись с открыто и щедро выказанной им нежностью. Где их прославленная прозорливость? Они не умеют отличить королеву от прачки!

Сюжет цикла «Н.Н.В.» легко прослеживается по строкам стихов: от игры-шутки («Что меня к тебе влечет — / Вовсе не



Константин Бальмонт

твоя заслуга! / Просто страх, что роза щек — / Отцветет...»), через успокоительно горделивое («Мой путь не лежит мимо дому — твоего, / Мой путь не лежит мимо дома — ничего...») и обличительное: «ты каменный, а я пою», — к самозащите, переходящей в атаку: «Не так уж подло и не так уж просто, / Как хочется тебе, чтоб крепче спать...».

Влюбленность в художника принесла переживание чуть ли не презрительного отвержения. Только этого и не хватало в тот год одеревеневшей от горя Марине.

В портрет, который сделает Вышеславцев, тяжело взгляды-ваться (не с сеансов ли все и началось?) Это лицо горя. Большие глаза, не улыбающийся, тяжело сомкнутый рот; лицо молодой, предельно измученной женщины...

В окружении Марины все, кто может, стараются в это время уехать из Москвы. Кто за границу, кто ближе, — как Вячеслав Иванов, например, вскоре переселившийся в Баку.

Готовится к отъезду и Бальмонт с семьей, — «последние настоящие друзья», как назовет их маленькая Аля в своем письме крестной в Крым. Бальмонт для Марины давно стал «братик». Испытания революционных московских лет, когда они виделись почти ежедневно и делились друг с другом последней шепоткой табака, последней картофелиной, последней щепкой, породнили их. Сама безбытная, Марина обожала в Бальмонте его полную внутреннюю свободу от быта. «...Земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит по первому низкому небу земли», — скажет она о своем друге почти двадцать лет спустя, на парижском вечере, призванном собрать средства в помощь больному поэту.

Верный своей природе, Бальмонт временами испытывает к Марине чувства более горячие, чем братские, и жалуется ей самой, что она не откликается на них. Но он рыцарски принимает ее верность мужу и только просит: «Если ты когда-нибудь почувствуешь себя свободной...»

— Никогда! — успеваешь вставить Марина.

— Если ты когда-нибудь отчаешься, — продолжает Бальмонт, — в минуту нежной прихоти — подари мне себя! — И, после паузы: — Глупые женщины! Нужно не иметь никакого чутья к красоте, чтобы не понимать, как это было бы прекрасно: ребенок от Бальмонта и Марины Цветаевой!

Их нежной дружбы это не разрушило.

И вот воспоминание самого Бальмонта о том времени из его книги «Где мой дом?», написанной всего через три года:

«Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И хотя мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах. <...>

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился к ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшней обед. <...>

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бежит, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас... — раздался звонкий голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:

— Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, — сказал я. И, взявшись за руки, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под грозно зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. <...>

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: «Хотите?» При этом отрывает от старой газеты, лежащей

на столе, бумажную ленточку и начинает изготавливать то, что называется сигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: «Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат». Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет оставаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть».

Незадолго до отъезда из Москвы Бальмонт дарит Марине новых друзей — ими станут вдова недавно скончавшегося композитора Скрябина и друг композитора, пианист и актер Чабров...

Юргис Балтрушайтис, с которым Бальмонт был давно дружен, стал к этому времени литовским посланником в Москве и помог поэту во всех предотъездных хлопотах. Он сумел достать заграничный паспорт и даже предоставил открытый грузовик своего посольства.

И вот 12 июня Марина провожает своего дорогого друга в дальнюю дорогу из его дома в Николо-Песковском переулке.

То были уже вторые его проводы: первые проходили в доме Скрябиных, где всем подавали картошку с перцем, а затем настоящий чай в безукоризненном фарфоре и все говорили трогательные слова и целовались. Но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше, табачном дыму и самоварном угаре оставляемого Бальмонтами жилья, в сутолоке цыганского табора. Так вспоминала эти дни полвека спустя Ариадна Эфрон.

Дом Скрябиных с лета 1920 года становится для Марины родным пристанищем. Она обретает здесь еще одну дружбу — с Татьяной Федоровной Шлецер, вдовой композитора. То была худенькая, черноглазая, грациозная и печальная женщина, обладавшая острым и живым умом. Она была старше Марины на десять лет; тоже писала стихи. Дом Скрябиных в двух шагах от Борисоглебского — в Николо-Песковском переулке. Тут всегда чисто, тепло, и сюда приходят интереснейшие люди: Бальмонт, Волконский, Балтрушайтис, Борис Зайцев, Андрей Белый, Леонид Пастернак, Гершензоны, Бердяев, актер и пианист Чабров-Подгаецкий.

«Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь, — вспоминала потом Цветаева. — Дружба суровая: вся в деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет...» Вдвоем с Татьяной Федоровной они бродили вечерами, а то и ночами по зимней Москве — одна в котиковой шубе и туфельках на каблуках, другая (Марина, конечно!) «медведем в валенках».

Им было хорошо вдвоем, и они собирались вместе уезжать из России. Но вдова Скрябина была больна, и весной 1922 года — ровно за месяц до отъезда Марины к мужу — она умерла от воспаления мозга.

Глава 24

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Между тем Чека год от году наращивала мускулы. 1920-й отмечен в хронике большевистских репрессий делом «церковников» (в январе) и еще более — первым процессом против интеллигенции — так называемым «Делом тактического центра» (в августе). Центра, в сущности, никакого не было, не было и никакой организации, но «дело» коснулось двадцати восьми видных представителей российской интеллигенции; в их числе оказались, среди других, видный историк С.П. Мельгунов и дочь национального гения Александра Толстая. В связи с «делом» мнимого центра допрашивали множество лиц, знакомых всей Москве. Прокурор требовал расстрела всех участников. И только потом высшая мера была заменена тюрьмой.

Обвинитель Крыленко, известный своими блестящими речами, потребовал смертного приговора и для Владимира Джунковского, бывшего московского губернатора, позднее — адъютанта царя и шефа полиции. На процессе Джунковского, проходившем в здании Купеческого собрания, присутствовала Маргарита Сабашникова — тогда еще публика допускалась в зал суда свободно; и очень вероятно, что от Маргариты Васильевны Цветаева знала подробности судебного разбирательства.

Она хорошо помнила Джунковского; по крайней мере однажды они встречались в одном из московских домов, куда их с Асей привел отец. Иван Владимирович тогда, к счастью, не понял, что вытворили его дочери в присутствии губернатора и множества уважаемых людей.

Джунковский в тот вечер пришел позже других. «Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спра-

шивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

— Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Джунковский, любезно:

— Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

— Я так всё позабыла... Боюсь, вы будете разочарованы...

Учтивость Джунковского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

— Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

О, пожалуйста».

Скверные девчонки садятся к роялю и — играют «гаммы наоборот» со смещенными клавишами и громким счетом вслух.

«Отец — Джунковскому: «Ну, как вы находите?»

И Джунковский, в свою очередь вставая: «Благодарю вас, очень отчетливо»».

«Мне было пятнадцать лет, я была дерзка, — комментировала сама Цветаева, вспоминая позже этот эпизод, — Асе было тринадцать лет, и она была нагла»...

И вот этому-то милому и обаятельному Джунковскому теперь — смертный приговор?!

Не хочу ни любви, ни почестей:

— Опынительны. — Не падка!

Даже яблочка мне не хочется

— Соблазнительного — с лотка...

Что-то цепью за мной волочится,

Скоро громом начнет греметь.

— Как мне хочется,

Как мне хочется —

Потихонечку умереть!

Эти строки написаны в июле.

А в сентябре из Крыма приезжает Эренбург и привозит еще одно тяжелейшее известие: о смерти Бориса Трухачева. Марина была нежно привязана к первому мужу сестры; Бориса она числила в своих ближайших друзьях; какое-то время, в начале революции, он даже жил в одной из комнат борисоглебской квартиры...

Ей трудно поверить в случившееся.

На протяжении чуть ли не всей жизни Марина подробно записывала свои сны: какая сокровищница для психоаналитиков! Все месяцы этого года ей снится маленькая Ирина; теперь снится и Трухачев...

И постоянно снится Сережа...

Между тем дни Белого движения на Юге России сочтены. В Риге 30 сентября большевики подписали перемирие с Польшей, и это сразу позволило им собрать против Врангеля пятеро большие силы.

Воспоминания уцелевших марковцев позволяют восстановить самые последние дни сопротивления Добровольческой армии.

15 октября 1920 года началось общее наступление всех армий Южного фронта. 21 октября 3-й полк марковцев под командованием подполковника Сагайдачного (именно в нем, как мы помним, сражается Сергей Эфрон) ведет жесточайший бой на переправе, соединяющей Сиваш с Азовским морем.

Полк прикрывает отход армии генерала Врангеля, которая пытается перейти в Крым. Начальником обороны Крыма становится генерал Кутепов. 29 октября тот же марковский полк — всего восемьсот бойцов, восемь орудий и три десятка пулеметов — получает приказ Кутепова обеспечить порядок уже начавшейся эвакуации войск из Крыма.

1 ноября уцелевшие в последнем бою (30 октября) марковцы погрузились в Севастополе на переполненный транспорт «Херсон», отправлявшийся в Турцию. Иные, впрочем, грузились в других портах и попали на другие суда...

Нечего и говорить, что никаких реальных сведений и подробностей боевых действий на Юге в большевистские газеты не просачивалось...

Страшный вечер 20 ноября 1920 года Марина коротко записала в своей тетради. Она была в Камерном театре на премьере «Благовещенья» Клоделя.

Внезапно в антракте на освещенную авансцену перед закрытым занавесом вышел режиссер. Он объявил о только что

полученном чрезвычайном известии: гражданская война закончена! Войска Врангеля окончательно разгромлены, остатки Добровольческой армии сброшены в море!

Посреди бурно зашумевшего зрительного зала, разом вставшего и в ликование грянувшего «Интернационал», Цветаева не могла заставить себя шевельнуться. Окаменение, столбняк овладели ею, как всегда при сильном потрясении, все равно — радостном или скорбном. Слепшая и оглошшая, она летела зегзицей туда, в Крым, к polegшим в последних боях и к «сброшенным в море».

Убит? Жив? Ранен?

Через несколько дней родятся первые строфы ее «Плача Ярославны»:

Буду выпрашивать воды широкого Дона,
Буду выпрашивать волны турецкого моря,
Смутное солнце, что в каждом бою им светило,
Гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет.

Скажет мне Дон: - Не видал я таких загорелых!
Скажет мне море: — Всех слез моих плакать — не хватит!
Солнце в ладони уйдет, и прокаркает ворон:
Трижды сто лет живу — кости не видел белее!

Я журавлем полечу по казачьим станицам:
Плачут! — дорожную пыль допрошу: провожает!
Машет ковыль-трава вслед, распушила султаны.
Красен, ох, красен кизил на горбу Перекопа!

Всех допрошу: тех, кто с миром в ту лютую пору
В люльке мотались.
Череп в камнях — и тому не уйти от допросу:
Белый поход, ты нашел своего летописца.

Нарком просвещения Луначарский поспособствовал тому, чтобы была послана телеграмма Марины Волошину с запросом о Сергее. И тут же, в ТЕО — среди шума и гама, — Марина пишет письмо Максу; Эренбург обещал передать его с okazji. «Умоляю, — пишет Марина (недоговаривая и так понятное), — дай мне знать, — места себе не нахожу, каждый стук в дверь повергает меня в ледяной в ужас — ради Бога!!!»

Пользуясь той же оказией, она спешно пишет и сестре,

которая все еще в Крыму. И в этом письме — о том же: «Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его. <...> Если бы я знала, что жив, я была бы — совершенно счастлива...»

Будни этой зимы Марина описывает в нескольких письмах к поэту Евгению Ланну. Страницы писем читаются как настоящая документальная проза. Вот только отрывок:

«Сидим с Алей, пишем. — Вечер.— Дверь — без стука — настезь. Военный из комиссариата. Высокий, худой, папаха. — Лет 19.

— Вы гражданка такая-то?

— Я.

— Я пришел на Вас составить протокол.

— Ага.

Он, думая, что я не расслышала:

— Протокол.

— Понимаю.

— Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в 4 №.

— То есть?

— Вода, протекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула.

— Так.

— Вы разводили в кухне кроликов.

— Это не я, это чужие.

— Но *Вы* являетесь хозяйкой?

— Да.

— Вы должны следить за чистотой.

— Да, да, Вы правы.

— У Вас еще в квартире 2-ой этаж?

— Да, наверху мезонин.

— Как?

— Мезонин.

— Мизимим, мизимим, — как это пишется — мизимим?

Говорю. Пишет. Показывает. Я, одобряюще: «Верно».

— Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!

— В том-то и вся беда, — если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, — я ведь все время пишу.

— А что именно?

— Стихи.

— Сочиняете?

— Да.

— Очень приятно. — Пауза.

— Гражданка, Вы бы не поправили мне протокол?

— Давайте, напишу, Вы говорите, а я буду писать.

— Неудобно, на себя же.

— Все равно, — скорей будет! — Пишу. Он любит по черком: быстротой и красотой.

— Сразу видно, что писательница. Как же это Вы с такими способностями лучшей квартиры не займете? Ведь это — простите за выражение — дыра!

Аля: — Трущоба.

Пишем. Подписываемся. Вежливо отдает под козырек. Исчезает.

И вчера, в 10 1/2 вечера — батюшки-светы! — опять он.

— Не бойтесь, гражданка, старый знакомый! Я опять к Вам, тут кое-что поправить нужно.

— Пожалуйста.

— Так что я Вас опять затрудню.

— Я к Вашим услугам. — Аля, очисти на столе.

— Может быть, Вы что добавите в свое оправдание?

— Не знаю... Кролики не мои, поросята не мои — и уже съедены.

— А, еще и поросенок был? Это запишем.

— Не знаю... Нечего добавлять...

— Кролики... кролики... И холодно же у Вас тут должно быть, гражданка. — Жаль!

Аля:

— Кого — кроликов или маму?

Он:

— Да вообще... Кролики... Они ведь все грызут.

Аля:

— И мамины матрасы изгрызли на кухне, а поросенок жил в моей ванне.

Я:

— Этого не пишите!

Он:

— Жалко мне Вас, гражданка!

Предлагает папиросу. Пишем. Уже 1/2 двенадцатого.

— Раньше-то, наверное, не так жили...

И, уходя: «Или арест или денежный штраф в размере 50 тысяч. — Я же сам и приду».

Аля: — С револьвером?

Он: — Этого, барышня, не бойтесь!

Аля: — Вы не умеете стрелять?

Он: — Умею-то, умею, но... — жалко гражданку!»

В несколько дней в самом начале 1921 года Марина создаст поэму «На красном коне». Поэма должна была решительно удивить поклонников цветаевской поэзии: в поэтическом ее строе не осталось и следа прежней стилистики. Зато гипнотической силы ритмика ведет здесь за собой читателя, ведет вернее смысловой тяги, буквально завораживает *до* и *помимо* предметных расшифровок. Поэма написана от первого лица как личная исповедь, она воссоздает путь героини, и это цепь страшных отречений от всех земных привязанностей — во исполнение воли Всадника. Всаднику безоглядно подчинена ее душа, но он не назван никаким именем, только устами бабки-колдуньи поименован — «твой Ангел» и «твой Гений».

Конный требует от героини трех жертв: куклы, друга и ребенка, — и эти жертвы ему приносятся! Героиня притянута к Конному некоей мистической силой высшей предназначенности, высшей преданности: «предан — как продан, предан — как пригвожден» — так скажет Цветаева об этой зависимости позже.

Спустя годы поэму будут не однажды пытаться дешифровать. Одни будут настаивать на том, что в образе Всадника следует видеть обожествленного Цветаевой Блока, другие — «мужское воплощение музыки», третьи — Гения в античном смысле этого слова, который неумолимо ведет *каждого* человека по ему одному предназначенному пути...

Валерий Брюсов организовал в начале 1921 года в Большом зале Политехнического музея вечер поэтесс. К участию в вечере пригласила Марину поэтесса Адалис; в цветаевской тетради воспроизведен их задорный диалог. Уговорить Марину непросто: она ни за что не желает выступать вместе с коммунистками. Кто там еще будет рядом? «Вечер совершенно вне?» — удостоверятся она. «Совершенно вне», — подтверж-

даст Адалис. Только тогда Марина соглашается участвовать, — в виде исключения, из симпатии к Адалис, хотя она не выносит объединений в искусстве по половому признаку.

Участвуют поэтессы совершенно разномастные, одеты они кто во что горазд. Более других запоминается Марине одна — высокая, лихорадочная, сплошь танцующая — туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Сама же Марина, по ее словам, «в тот день была явлена «Риму и Миру» в зеленом, вроде подрясника, — платьем не назовешь (перефразировка лучших времен пальто), честно (то есть — тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским... ремнем. Через плечо офицерская же сумка... снять которую сочла бы изменой и которую сняла только на третий день по приезде (1922 г.) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга». Ноги Марины — в серых валенках, и в окружении лакированных лодочек они выглядят столпами слона.

Лица поэтесс — синие, в зале три градуса ниже нуля. Из-за близорукости Марина не видит лиц, но по грубоватости гула и сильному запаху голенищ легко заключает, что зал молодой и военный.

Гул нарастает. Вступительную лекцию Брюсова о женском творчестве никто не хочет слушать. Мысль Брюсова была несложна: на все лады он варьировал одно: женщина — любовь — страсть, во все времена женщина умела петь только о любви и страсти...

Вот как?! Насторожившись с первых же слов, Цветаева торопливо закладывает спичками черную свою конторскую книжечку стихов. Она негодует и рвется в бой, но Брюсов задумал очередность выступлений по алфавиту.

К счастью, поэтессы одна за другой отказываются, — трусят выступить первыми. Тогда Марина вызывается сама.

Она стоит на эстраде, больше похожей на арену цирка, подняв тетрадку со стихами близко к глазам, в своих замечательных валенках, и с превосходной дикцией читает — одно за другим — семь стихотворений.

Ни в одном из них — ни слова о любви! Это стихи о добровольцах, о Доне, об Андре Шенье, еще и еще из «Лебединого стана», — и, наконец, свой «Плач Ярославны», только что написанный.

После каждого прочтенного стихотворения — недоуменная секунда тишины и — рукоплещут!

Цветаева трезво отдает себе отчет в том, что на вечере поэтесс дело, во-первых, вообще не в стихах. И, во-вторых, смысл стиха со слуха в первый раз никогда не воспринимается. Последнее прочитанное стихотворение было вообще — сальто на канате:

Руку на сердце положи:
Я не знатная госпожа!
Я — мятежница лбом и чревом...

И в конце:

Да, ура! — За царя! — Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!

Выше башен летит чепец!.. —

И далее, и далее — в том же духе, весьма весело.

Стих этот, скажет позже Цветаева, был и ее в тот час перед красноармейцами последней правдой — правдой жены белого офицера...

Но тут ее решительно прервал похолодевший Брюсов.

И ведь обошлось! А она осталась с надеждой, что, может быть, хоть один человек в зале внятно расслышал *бунт*.

Слово свободного человека, не втиснутого ни в какие рамки, — пола или политики!

Март 1921 года был ознаменован кронштадтским мятежом против большевиков и принятым на X съезде РКП(б) решением о переходе к новой экономической политике. Результатом этого решения стало появление в стране небольших частных предприятий, оживление торговли — и не только торговли. Однако видимых глазу улучшений жизни для рядового гражданина республики придется ждать еще долго. Французская журналистка Луиза Вейсс, оказавшаяся той весной в Москве, так описывала увиденное: «На ступеньках Рязанского вокзала крестьяне продают масло, муку, пирожки. Целые семьи лежат кругом костров, горящих на мостовой улиц... Мужчины в фракных штанах и кожаных куртках, жен-

шины в шубах и лаптях, другие с голыми ногами и в сапогах... Молодые люди, украшенные красными значками, предлагали лисьи и овечьи шкурки, отрезки материй; маленькие девочки старались продать разбитые зеркала, вышитые сумочки... И сотни людей, бледнее, чем болезнь, изнеможеннее, чем смерть...»

В апреле того же 1921 года Блок записал в дневник: «Вошь победила весь свет. Это уже свершившееся дело, и всё теперь будет меняться только в одну сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы...»

И все же каждый вечер в Москве проходят чтения новых литературных произведений — в кафе и в кружках «Звено», «Литературный особняк», «Лирический круг», «Никитинские субботники». Осенью откроется московское отделение Вольной философской ассоциации (так называемой «Вольфилы»), куда вошли Бердяев, Гершензон, Шпет и другие философы...

Продолжает функционировать Книжная лавка писателей на Никитской улице. Она создана была еще в 1918 году на паях, и предполагалось, что со временем это книготорговое предприятие преобразуется в кооперативное издательство. За прилавком стоят известные литераторы, историки, философы — Осоргин, Зайцев, Дживелегов, Муратов, Бердяев, Грифцов. Они продают книги — свои, чужие и бесхозные, а также новые, изготовленные — как тут шутят — «способом преодоленного Гутенберга», то есть рукописные. Прозаикам и философам трудно этим воспользоваться, но для поэтов вполне удобно: они переписывают свои стихи от руки, самодельным образом украшают обложку, сделанную из чего придется, сшивают листы вошеной ниткой в тетрадочки, — и товар идет на прилавок. Так Марина изготовила девять своих сборничков, — в частности «Современникам» (стихи к Блоку, Ахматовой и Волконскому), «Стихи к Блоку», «Разлуку», «Мариулу»... Проданные экземпляры оказывались все же каким-никаким материальным подспорьем.

В других книжных лавках — «Задруга» и «Колос» — можно было теперь купить и заграничные русские издания: номера журнала «Современные записки», начавшего выходить в Париже, или появившийся в конце этого года сборник «Смена вех».

В мартовском письме Волошину Марина пишет: «Моск-

ва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб — студия — театр и танец пожирают всё. — Но — свободно, — можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.

Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки. О С. думаю все-часно, любила многих, никого не любила...»

Этой весной Илья Эренбург выхлопотал себе разрешение на временный отъезд за границу. С Цветаевой у них уже давно установились дружеские отношения, и Илья Григорьевич пообещал: сразу же, как прибудет в Европу, он наведет справки о Сергее Эфроне. И если найдет — передаст ему письмо и стихи. Марина отбирает самые любимые и, торопясь, переписывает, чтобы послать с Эренбургом, — скорее всего, это стихи из «Лебединого стана».

Ее письмо мужу полно отчаяния. «Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас... Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всем и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь — жизнь, разве ему...»

(В письме много таких обрывов и недоговоренностей. В частности, потому, что Марина предельно суеверна; «боюсь вслух, боюсь сглаза, боюсь навлечь...» — так объяснит она сама позже эту свою особенность в письме к Пастернаку.)

Без подробностей — где, когда, как — она сообщает мужу о смерти Ирины. И тут же: «Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудрявую голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешенья, кроме смерти. Но мысль — а вдруг С. жив?...»

Мысль об уходе из жизни всегда с ней рядом. Так понимает она преданность кому-либо или чему-либо; если что — есть выход... И можно не сомневаться в искренности таких признаний. Она ощущает себя на кромке существования почти всегда, — и от ее доброй воли тут, кажется, ничто не зависит.

Но, уехав из Москвы, Эренбург надолго застрял в Риге.

Затем — через Копенгаген и Англию — приехал в Париж, оттуда был внезапно выслан, перебрался в Бельгию...

Между тем Марина считала дни и недели и укреплялась в самых своих мрачных предположениях. Временами ей казалось, что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом.

Глава 25

КНЯЗЬ ВОЛКОНСКИЙ

С князем Сергеем Михайловичем Волконским отношения Марины поначалу сложились неудачно. Она не раз встречала его за кулисами Третьей студии, знала, что он дружен со Стаховичем. После смерти Стаховича она написала князю письмо, в своем обычном стиле, игнорирующем все правила, — «простое, доверчивое, ласковое», так она сама считала, «вольное, но не фамильярное». Предлогом, совершенно неуклюжим, было желание узнать нечто об Англии, где, как она знала, Волконский бывал.

На другой день последовал телефонный звонок. С первых же слов стало ясно, что князь предельно взбешен: «Что вам от меня нужно? Незнакомым людям не пишут писем, это наглость!» Ошеломленная Цветаева пыталась что-то сказать, — куда там! «Вы меня не так поняли...» — пробовала объяснить, но ни ее кроткая вежливость, ни извинения не смягчили Волконского. Потом уже Вахтанг Мchedлов, Сонечка Голлидэй и вдова Скрябина, в доме которой Волконский бывал, пытались заступиться, уверить князя, что Марина ничего дурного и в мыслях не имела, что подшучиванье, которое ему почему-то почудилось в письме и оскорбило, примерещилось на пустом месте... Все уговоры были впустую!

Но постепенно недоразумение все же сгладилось. Они сблизились и подружились, видимо, в 1920-м.

Бывший директор императорских театров, автор нескольких книг об искусстве театра, в 1921 году князь читал лекции в Московской филармонии. Шестидесятидвухлетний Волконский внешне был совершеннейший Дон-Кихот, точно спи-

санный с иллюстраций Гюстава Дорэ. Худой, хоть пунктиром его рисуй, с просоленными сединой волосами, с эспаньолкой, на тончайших ножках-жердях, в коротеньких, до колен, штанишках, в серо-зеленой курточке нерусского образца... Так, почти карикатурно, выглядит внук прославленной Зинаиды Волконской в воспоминаниях Эммануила Миндлина, встречавшегося с князем как раз в 1921 году в Москве. Марина увидит однажды бережно сохраненный Сергеем Михайловичем бабкин альбом пушкинских времен.

Эту дружбу она отвоевывала упорно, настойчиво, терпеливо. И по прошествии времени Волконский уже охотно просиживает долгие часы в ужасной цветаевской квартире. Он в упор не замечает тут холода, разрухи и беспорядка, столько раз сладострастно описанного другими, — и с удовольствием пьет паршивый кофе, приготовленный на керосинке; в комнате холодно, электричество то и дело тухнет, но они беседуют и читают стихи. Иногда вместе выходят на улицу — идут в гости к общим знакомым. Волконский будет потом вспоминать Марину такой, какой она была жарким летом 1921 года, — босой или в сандалиях на босу ногу, с котомкой за плечами. В котомке — ржаные лепешки и рукопись стихов. Сверху сияли звезды. Обдавал грязью проносящийся автомобиль...

Попервоначалу Марина, разумеется, влюбилась, — как же иначе! — со всем присущим ей пылом-жаром и неподдельными страданиями. Если она не видит Волконского три дня — ей кажется, что минул, по крайней мере, месяц. «Какую власть, — сокрушается она в своем дневнике, — имеет человек над человеком. Ежедневное положение во гроб и воскрешение из мертвых!» Но идет время, и прохладная сдержанность князя заставляет Марину перевести свой жар на другие рельсы. Она всеми ушами слушает рассказы Волконского, что-то ему отвечает, но ей кажется, что он-то ее не слышит. Его реакции всегда такие тихие, как будто незаинтересованные... Этакое, записывает она в своей тетради, изящное отсутствие человека в комнате... Внимателен, ласков, но что за этим? Вежливое равнодушие?.. Ну да, решает она, он самодостаточен, ему никого и не нужно. Она находит этому объяснение — «эгоист из породы Гёте». Ему и не нужны собеседники!

Изредка она бывает в московском доме Волконского в Шереметевском переулке — в громадных холодных комнатах

с высокими потолками. Жена Волконского, сама писавшая стихи на латыни, время от времени устраивала вечера; здесь бывал, наезжая из Петрограда, граф Зубов, пианист Игумнов играл «Апассионату». А однажды Волконский пригласил Марину и Эммануила Миндлина (которому она дала на время приют в борисоглебской квартире) в дом на Большой Никитской, где размещалось Всероссийское театральное общество. Там при свечах князь читал главы из неизданной книги своих воспоминаний. Наряды присутствовавших гостей, многие из которых принадлежали к чудом сохранившейся еще старой аристократии, — эти наряды были так респектабельны, что Миндлин и Цветаева не решились войти в зал. Они слушали Сергея Михайловича из-за дверей.

«Из чистейшего восторга и благодарности» она предлагает Волконскому переписать для издательства рукописи трех его книг. Немало поразившись, князь соглашается.

И когда кто-то услужливо просвещает ее относительно фиктивности брака Волконского и врожденного его неинтереса к женщинам, — Марина ни на йоту не утрачивает к князю преданной нежности. Много лет спустя она напишет Александру Бахраху, что Волконского она «всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добыла его — в вечное владение! Одолела упорством любви». Еще позже — другому корреспонденту: Волконского, настаивает она, «я больше всех и *мое* всех на свете любила». Ее любовь такой природы, что, как она записывает в своей тетрадке, «знай я подходящего ему, — я бы ему его подарила».

Лишь мельком — в который раз? — она изумится самой себе: «Огню: не гори, ветру: не дуй, сердцу: не бейся. Вот что я делаю с собой. — За-чем?!»

Никому не удавалось отвлечь ее от ее собственного творчества: ведь переписка пожирает чудовишное количество времени; переписывать приходится крупными печатными буквами на больших листах! Однако она идет на это с радостью... удивляясь самой себе. Она взваливает на себя сладкий долг — и, быть может, его исполнение помогает ей сократить время до известий о муже?

Месяц за месяцем она живет, по ее собственным словам, «на дне волконского Китежа».

Из письма от 31 марта 1921 года: «Дорогой С.М., живу

благодаря Вам изумительной жизнью. Последнее, что я вижу засыпая, и первое, что я вижу просыпаясь. — Ваша книга...» Она записывает к себе в тетрадку: «Моя любовь к нему... перешла в природную: я причисляю его к тем вещам, которые я в жизни любила больше людей: солнце, дерево, памятник...»

В марте Марина все же прорывается стихами — циклом «Ученик». Отрешенность, готовность внимать и идти — от высоты к высоте...

Есть некий час — как брошенная кляжа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества, он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

Высокий час, когда, сложив оружие
К ногам указанного нам — Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском...

Она скоро заметила, что не она Волконского «приручила», а скорее он ее — обтесал, *распрямил* простым неслышаньем и незамечанием всего того, что в ее отношении к нему было лишним. Она сопоставляет этого князя с теми, кого встречала вокруг в последние годы: куда там! «...Моя *земная* жизнь Вами перевернута, — пишет она ему в одном из писем этой весны. — Все, с кем раньше дружила, — отпали. Вами конечно несколько дружб... — за ненадобностью... Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высокий лад. ...Я четыре года живу в советской Москве, четыре года смотрю в лицо каждому, ища — *лица*. И четыре года вижу *морды* (хари)». «Всё, что было во мне исконного, всё замеченное и занесенное этими четырьмя годами одинокой жизни — среди низостей — встало... Я стала я. Это и значит любить вас».

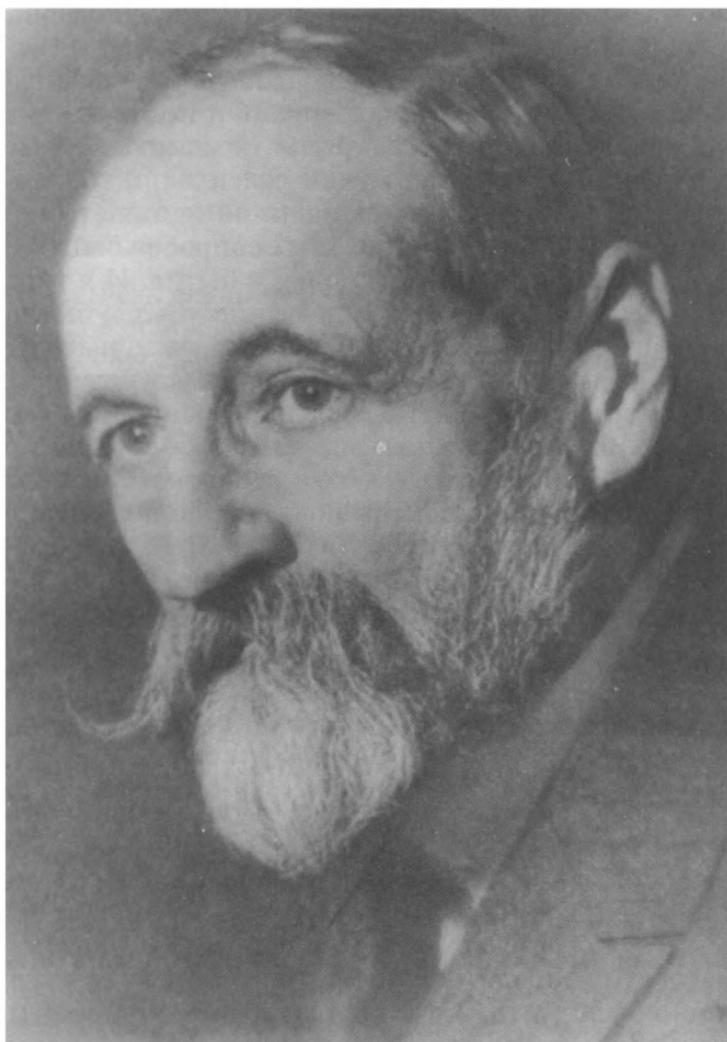
Если бы сохранились только эти черновики писем и дневниковые записи, скептики сказали бы, что объект восхищения, видимо, лишь терпел эту взрывчатую женщину со всеми ее чрезмерностями. Но, слава Богу, вот он перед нами — документ, от которого никуда не денешься! Он скромно свидетельствует о том, что большие люди чувствуют и оценивают все иначе, чем заурядные. Речь о предисловии, которое написал Волконский к книге «Быт и бытие», изданной в 1924 году в эмиграции.

Эти страницы — нежнейшая, а не просто благодарная дань Марине.

Как она ошибалась, когда думала, что он ее не слушает! Он все слышал, и он восхищался ею! Он подметил и запомнил — не закопченные стены, тряпье на спинках стульев и ее ноги в чудовишных башмаках или валенках, а то, что и как она говорила. «Вы однажды сказали, — напишет он там, — как Вам нравится, что от неприятных вопросов быта я быстро перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И я тут же подумал, какое было бы красивое название «Быт и бытие!»»

Автор предисловия вспоминал о тех «ужасных, гнусных московских годах», их совместные вечера в нетопленном доме, иногда без света, и гадкий, но милый, сваренный на керосинке «кофе». «Вы помните, как мы жили? — спрашивал Волконский. — В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности! Да это что! А помните нахальство в папаше, врывающееся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность «товарищеского» обхождения? Помните, что это такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи! <...> Была ли хоть одна заря без жертв, без слез, без ужасов? <...> Вы не забыли, как вы жили? В Борисоглебском переулке в нетопленном доме, иногда без света, в голой квартире, за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, — белые лебеди и Георгий Победоносец, — прообразы освобождения... Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева. <...> И страшно было жить, и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышат женщины-расстрельщицы? А дети, играющие в расстрел?...» «Как тяжел был *быт*, как удушливо тяжел! Как напряженно было *бытие*, как героически напряженно!.. Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было наше бытие».

В том же предисловии Волконский вспомнил великолепный девиз, который придумала в эти годы Марина: «лучше быть, чем иметь». Она сформулировала его по-французски —



Князь Сергей Волконский

mieux vaut être q'avoir, отчего афористическое изящество проступало отчетливее — ибо статус вспомогательных глаголов *быть* и *иметь* в европейских языках более содержательный. Но девиз был не просто изящен; он звучал противовесом тенденциям революционной эпохи, — эпохи, провоцировавшей в современнике как раз неумную жажду — переделить, владеть, *иметь*! Нет, высшая ценность — *быть*, быть собой, оставаться собой, не предав своих важнейших духовных ценностей перед лицом испытаний. Так формулировала двадцатидевятилетняя Марина Цветаева.

Тем временем в Москве появляются номера только что родившегося русского зарубежного журнала — «Современные записки». И в первых же номерах были помещены стихи Цветаевой! Кто способствовал этому? Возможно, посредником оказался Бальмонт.

В 1921 году вышел уже седьмой номер, в котором не только цветаевские стихи, но и обширное предисловие к ним Константина Бальмонта. Сердечностью тона оно соперничает с тем, что несколько позже написал Волконский. Но кроме восхищения мужеством и независимостью Марины в революционной Москве, Бальмонт дает высокую оценку ее поэзии: «Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие»... И тут же: «Наряду с Анной Ахматовой Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс».

Впервые имя Цветаевой было поставлено рядом с прославленным именем петербургской поэтессы. И не присяжным критиком — самим Бальмонтом!

В мае 1921 года приехала, наконец, из Крыма сестра Ася с сыном. Без помощи Марины это вряд ли могло бы осуществиться: старшая сестра сумела достать и переправить в Крым необходимые документы, да еще и пуд муки — для выручки денег на дорогу.

Но в Борисоглебском Ася прожила не слишком долго, переехала на Плющиху. Что-то словно надтреснулось в их отношениях за время разлуки. Близость сестер, некогда так изумлявшая их гимназических подруг, не растаяла, но стала иной, сохранив сердечность.

Они обе изменились — внешне и внутренне, и Марина особенно. Внешние перемены в сестре Асю удручили: та красавица, какой старшая Цветаева стала в период коктебельского лета 1911 года вплоть до дня их расставания в Феодосии в октябре 1917-го, — исчезла. Одутловатые щеки, желтизна кожи; даже в жестах и словах сестры Анастасия горестно отмечала странные перемены.

Фотографий Цветаевой того времени не существует, но есть силуэт, выполненный Кругликовой: гордо и даже как будто весело закинута головка, четкий красивый профиль, белый воротничок на широкой блузе...

Главное, что Марина хотела услышать при встрече от сестры: встречала ли та в Крыму Сережу?

— Да, только давно, — отвечала сестра, с ужасом ожидая пристрастных расспросов.

— Но ты слышала о нем что-нибудь? — продолжала допытываться Марина. — Жив? Нет? Только говори правду!

В ответ Асе пришлось мужественно лгать:

— Нет, ничего не слышала...

И это было неправдой. Она слышала однажды о каком-то Эфроне, якобы расстрелянном в Джанкое. Но достоверного ничего узнать ей тогда больше не удалось.

За три с половиной года слишком многое было пережито обеими. И пережито по-разному. Это не могло пройти бесследно. Вскоре сестры сочли за благо жить врозь — тем более подвернулся случай...

Душевное состояние Марины день ото дня тяжелеет. Она ждала от Эренбурга утешающих — или страшных! — известий через месяц-другой после его отъезда. Но уже наступает лето — и ничего! Марина не находит себе места.

Перепись текстов Волконского завершена. *Этот* долг исполнен. Ей не за что больше уцепиться! Впрочем, один выход еще оставался: стихи! Ее спасательный круг.

Несколько стихотворений, созданных в июне, она объединит потом в книжечке «Разлука». Так назван и цикл, получивший посвящение «Сереже». Но если прочесть внимательнее восемь его стихотворений, ясно: Цветаева готовилась в эти дни к особой разлуке. С дочерью — и с жизнью. Еще раньше, в начале 1920 года, в письме к Звягинцевой: «Если С.

нет в живых, я все равно не смогу жить...» Спустя год она не рассталась с этой навязчивой мыслью.

Не крадушимся перешибленным зверем, —
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери —
Из жизни...
В тот град осиянный,
Куда — взять
Не смеет дитя
Мать.

Цикл был закончен 17 июня.

Через семь дней начат следующий — «Георгий». Напряжение не отпускает Марину. Кажется, как только она отложит перо, настанет момент необратимых решений.

26 июня создано одно стихотворение нового цикла, 28-го — еще два, 29-го — еще два, 30-го — еще одно. Как всегда, когда она захвачена сильным чувством, стихи льются неукротимым ливнем. Святой Георгий на белом коне, в красном плаще, копьем пронзающий гада, кроткий Георгий, затравленный сворой... Нет сомнений: это портрет Сережи! Но теперь он уже вознесен на икону.

1 июля — еще стихотворение! И оно стало последним в цикле.

Это уже апофеоз, сплошь на восклицательных знаках и непомерных уподоблениях, строгого суда критики он не выдержит. Это скорее черновик, зафиксировавший все варианты: на следующий день половина из них была бы, вероятно, отброшена...

Но следующего дня не понадобилось.

Безмерным сосредоточением на судьбе мужа Цветаева вымолила у судьбы его жизнь. Во всяком случае, так считала она сама.

1 июля Марина держит в руках — письмо от мужа!

Известие от Эренбурга нашло Эфрона в Константинополе.

В сумбурном письме жене Сергей писал, что пробродил весь этот день, обезумев от радости. Последнее ее письмо он получил только осенью девятнадцатого года; потом имел известия от Бальмонта, приехавшего в Париж осенью двадцатого года. И вот, наконец, — новое известие и адрес, по которо-

му неопасно посылать письмо! «Что мне писать Вам? С чего начать?.. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное... будет... Наша встреча с Вами была величайшим чудом... большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. За все это время ничего более страшного, чем постоянная тревога за Вас, я не испытал...»

Глава 26

ПЕРВОРОДСТВО — НА СИРОТСТВО

До их встречи пройдет еще почти год.

Но именно этот летний московский вечер, когда Марина держала в руках странички, исписанные знакомым почерком, перечитывая их и с трудом осознавая возвращение к жизни, — именно этот вечер предопределил и другую разлуку.

Разлуку с родиной, с Москвой.

Какие могли быть колебания? Бывший белый офицер не мог вернуться в красную Москву. Отложить встречу до неясных лучших времен?.. Выбора не оставалось.

Получить разрешение на временный выезд из Советской России с началом нэпа стало уже возможно. Процедура упростилась особенно для женщин, детей, стариков и больных. Но на паспорт, визу, билеты нужны были деньги — и деньги большие. В октябрьском письме к Эренбургу Марина назвала сумму, необходимую, чтобы доехать до Риги: десять миллионов. «Для меня это все равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. — Продав Сережину шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево, 2 книги: сборничек «Версты» и «Феникс» (Конец Казановы) — с трудом наскребу 4 миллиона,— да и то навряд ли: в моих руках и золото — жечь, и мука — опилки. Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода боюсь, а зависимости. Чует мое сердце, что там, на Западе, люди жестче. Здесь рваная обувь — беда или доблесть, там — позор...»

Денег нет, а между тем в ее тетрадах — сокровища: залежи неопубликованной лирики, рукописи поэм и стихотворных пьес! Тетради разбухали от стихов, число тетрадей множилось, но новых книг Марина не издавала. Интерес к самоиз-

данию у нее был слаб даже и тогда, когда оно было еще возможно; импульсы для этого требовались уже не творческие.

Теперь она принимается за разборку своего архива. Подготавливает к изданию поэму «Царь-девица» и пьесу «Феникс», а также составляет поэтические сборники. И — знаменательно! — трем из них дает одно и то же название: «Версты». В один войдут стихи 1916 года (их издаст частное издательство «Костры»), в другой, поменьше, — тщательно отобранные стихи четырех лет — с 1917-го по 1920-й. За бортом оставалось и еще множество....

Чем так притягивало ее это слово «версты», начинавшее уже исчезать из русской речи? Не тем ли, что оно давало простор воображению — и зрительному и ассоциативному? Впрочем, в дневниковых ее записях 1919 года есть размышление, проясняющее вопрос. «Время не мыслишь иначе, как расстояние. А «расстояние» — сразу версты, столбы. Стало быть: версты — это пространственные годы, равно как год — это во времени — верста».

П.Н. Зайцев, работавший тогда в «Госиздате», вспоминает: «Появлялась она у нас в ГИЗе в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке на стройной головке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой-портфельчиком: не то школьница старших классов, не то пешеходная туристка, готовая исходить своими небольшими, но сильными ногами десятки километров, свои «версты», не выражая особой усталости... Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой...».

Одно авторское условие к изданию было категорическим: стихи должны быть набраны по старому правописанию — с ерами и ятями! В противном случае она предпочитает сжечь их...

«Госиздат» принял к изданию две ее книги: сборник «Версты» (включавший стихи 1916 года) и поэму «Царь-девица». Обе книги вышли в свет, когда Цветаева уже покинула родину, — в конце 1922 года. Условие автора, как и следовало ожидать, было проигнорировано!

Борис Пастернак впервые узнал Цветаеву-поэта именно по «Верстам». Увы, он прочел их уже после ее отъезда из России. Позже он писал: «...За вычетом Анненского и Блока и, с

некоторыми ограничениями, Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не были все остальные символисты вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями истинного творчества, справляясь с его задачами игрючи, с несравненным техническим блеском. Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, а не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, схватывающей, без обрыва ритма, целые последовательности строф развитием своих периодов...»

Наступил ужасный август 1921 года. Беды начались с ареста всех сотрудников Комитета помощи голодающим (Помгола), располагавшегося в двух шагах от дома Марины — на Собачьей площадке. Затем страшные вести пришли из Петербурга. О смерти Александра Блока. Потом — о расстреле Николая Гумилева в застенках Чека.

Прошло еще несколько дней, и по Москве поползли слухи о том, что умерла Анна Ахматова. Передавали как достоверность, что Вячеслав Полонский — редактор «Нового мира» — будто бы уже попросил критика Сергея Боброва переделать в некролог его рецензию на ахматовский сборник...

Цветаева сама рассказала в письме к Анне Андреевне, как она пережила дни, когда этот слух дошел до нее. Три дня она провела как в страшном сне, мучаясь неизвестностью — «хочу проснуться и не могу», — и, наконец, отправилась в Кафе поэтов, где иногда, преодолевая отвращение, выступала («что за уроды! что за убожества! что за ублюдки!»); она надеялась, что там кто-нибудь знает достоверное. Единственным настоящим человеком оказался Маяковский, — он дал телеграмму в Петроград своим знакомым с запросом об Ахматовой — и получил ответ: жива!

После окончания вечера Марина просит у Боброва командировку в Петроград — к Ахматовой. Вокруг смеются.

— Господа! — говорит Марина умоляюще. — Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!

«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» — такой эпитафия она поставит к новым своим стихам, обращен-

ным к Александру Блоку, — их публикует вышедший вскоре после смерти поэта альманах «Пересвет». Выбирает она для эпитафии, как видим, знаменитые строки Тютчева на смерть Пушкина, — тем самым вводя имя любимого современника в ряд высочайших имен отечественной культуры. В стихах лично пережитая боль соединена с общероссийской:

Так, Господи! — И мой обол
Прими на утвержденье храма.
Не свой любовный произвол
Пою — своей отчизны рану...

И все же, спустя годы, в письме Борису Пастернаку она выскажет свое самое сокровенное об отношении к петербургскому поэту: «Встретились бы — не умер...» То был, может быть, даже упрек себе. «...Горячо жалею,— писала Цветаева через тринадцать лет после гибели поэта Вере Николаевне Муромцевой, — что тогда... не сделала к нему ни шагу, только — соответствовала». Это сказано не о Блоке — об Андрее Белом, после получения известий о его смерти. И далее: «У меня сейчас чувство, что я могла бы этого человека (??) — спасти».

Ей всегда хотелось спасти или, по крайней мере, подставить плечо, протянуть руку, а может быть, просто помочь, даже в чем-то бытовом — затопить печь, вымести сор...

Не подругою быть — сподручным!
Не единою быть — вторым!

Близнецом — двойником — крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым...

Через несколько месяцев после смерти Блока Марина познакомилась с Надеждой Александровной Нолле-Коган.

Со всей чистотой сердца она поверила в то, о чем уже слышала от других: что Саша — маленький сын Надежды Александровны — это сын Блока. Марина рассматривает фотографии мальчика, и черты его лица кажутся ей в самом деле похожими на облик поэта. Ей показывают подарки Блока новорожденному — перламутровый крест с розами и иконку; и еще блоковские письма с росчерком, похожим на пушкинский.

По крайней мере однажды Нолле-Коган придет в разрушенную цветасвскую квартиру в Борисоглебском. Они будут говорить о Блоке, и та расскажет Марине, как поэт в 1920 году читал в ее присутствии письма, переданные ему на вечере в Политехническом музее. После ухода Надежды Александровны Цветаева записывает ее рассказ: «Я всегда их ему читала, сама вскрывала, и он не сопротивлялся. (Я ведь очень ревнивая! *всех* к нему ревновала!) Только смотрел с улыбкой. Так было и в этот вечер. — «Ну, с какого же начнем?» Он: «Возьмем любое». И подает мне — как раз Ваше — в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой почерк, сначала как будто легко, а потом... Да еще и стихи, я не ждала... И он очень серьезно, беря у меня из рук листы:

— Нет, это я должен читать сам.

Прочел молча — читал долго — и потом такая до-олгая улыбка.

Он ведь очень редко улыбался, за последнее время — никогда».

При всей своей расположенности к гостю, Марина не может отделаться от чувства разочарования: вот такие, слабые, всегда будут побеждать ее; «*такие* с Блоком, а не я...» — с горечью запишет она в этот вечер в своей тетрадке.

Но к тому времени «последней подруге» она уже посвятила целый цикл стихов, и цикл этот будет включен в книжечку «Стихи к Блоку» (она выйдет вскоре в Берлине).

Позже Марина узнала, что ошиблась, поверив мифу о блоковском сыне. Долго не хотела верить, но — пришлось...

В сентябре уехал из России и князь Сергей Михайлович Волконский. Наверняка он увез с собой сборники стихов, подготовленные Мариной к изданию. А 16 октября в Союзе писателей прошел прощальный вечер Андрея Белого. Поэт не собирался оставаться в эмиграции, говорил, что вернется обратно. Но все так тогда говорили — и почти все так думали, надеясь на падение власти большевиков. В отличие от Бальмонта, Вячеслава Иванова, Бориса Зайцева и многих других, Андрей Белый и в самом деле вернется на родину. На прощальном вечере он читает новую свою поэму «Первая прогулка»...

Еще один вечер, имевший очень далекие последствия, со-

стоялся 28 ноября в московском Союзе писателей. То был вечер, на котором известный критик Юлий Айхенвальд прочел доклад о Николае Гумилеве.

Последствия проявили себя не сразу. Союз писателей уцелел. Но появившаяся несколько месяцев спустя книга того же Айхенвальда («Поэты и поэтессы») с восторженным отзывом о таланте Гумилева послужила поводом для появления в «Правде» статьи под грозным заглавием «Диктатура, где твой хлыст?» И хлыст не заставил себя долго ждать. 31 августа 1922 года было обнародовано постановление ГПУ о высылке за пределы страны группы известнейших русских интеллигентов — по списку, составленному самим Лениным.

С сентября 1921 года начиная, в творческих тетрадях Цветаевой предельно ожесточается интонация. Отторжение от происходящего в стране достигает последнего края, перерастая временами в кипение непримиримой ненависти, что, вообще говоря, Цветаевой несвойственно. Даже в «Лебедином стане» авторский голос звучал мягче.

«Ханский полон» — так назовет она цикл, созданный в сентябре-октябре, но и вне цикла встретится не раз это полюбившееся ей уподобление большевиков «татарве», существующей власти — дикой и свирепой Орде, не знающей пощады. В цветаевских стихах, собранных позже в сборник «Ремесло», встает страшная картина: земли, захлебывающейся в кровавой полынье; «Родины моей широкоскулой/ Матерный, бурлацкий перегар»; «В осоловелой оторопи банной — / Хрип княжеский да волчья сыть». Непереносимее всего для нее то, что хрипы замученных перемежаются с разудалыми плясками Руси, загулявшей с началом нэпа как ни в чем не бывало, посреди страданий и разора:

И на кровушке на свежей —
Пляс да яства.

Фольклорное начало, властно вторгшееся в цветаевское творчество еще в 1916-м, теперь проявляет себя еще увереннее.

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всеношной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке!

Многие стихи «Ремесла» были настолько непохожи на прежние, что у критиков, писавших о них, появлялось искушение говорить о «переломе» в творчестве поэта. Но Цветаева резко возражала. Она подчеркивала естественность смены голоса; он не мог не измениться! Ибо изменилось ее мироощущение, ее шкала ценностей! «*Не перелом*, — новый речной загиб, а может быть и РАЗГИБ творческой жилы. Переломов у меня в жизни — не было. Процесс древесный и речной: рост, кажется?» — так писала она в 1934 году критику Юрию Иваску в связи с его оценкой сборника «Ремесло».

С этого времени поэзия Цветаевой все более решительно выпрастывается из пелен традиционного русского стихосложения.

В ноябре сестры Цветаевы получили письма из Коктебеля от Максимилиана Александровича. Страшные письма — о голоде в Крыму и арестах друзей в Судаке. Сестры Цветаевы показывали письма всем подряд, так что вскоре это дошло до Луначарского. И тот пригласил Марину в Кремль.

Рассказ об этом визите — в письме Цветаевой Волошину: «С Кремлем я рассталась тогда же, что и с Сережей, часто звали пойти, я надменно отвечала: Сама поведу. — Шла с сердцебиением. Положение было странно, весь случай странный: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, — только *и!* (Вроде верхнего *си* (si) Патти!) Но — не пойти — обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Кремль — взяла в вожатые Волькенштейна...

После тысячи недоразумений: его ложноклассического пафоса перед красноармейцем в будке (никто не понимал моего шепота: *явления* его!) и прочего — зеленый с белым Потешной дворец. Ни души. После долгих звонков — мальчишка в куцавейке, докладывает. Ждем. Большая пустая белая дворянская зала: несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видеться вовсе не нужно, пусть товарищ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет: бонапартовский, в Египте. <...> Пишу про всех, отдельно Судак и отдельно Коктебель. Дорвалась, наконец, до Вас с Пра: «больные, одни в пустом доме...» — и вдруг иронический шип Волькенштейна: «Вы хотите, чтобы

их уплотнили? Если так, Вы на верном пути!» Опомнившись, превращаю эти пять слов в тайнопись. Доклад кончен, уже хочу вручить мальчишке и вдруг — улыбаюсь, прежде чем осознаю! Упоительное чувство «en presence de quelqu'un»¹. Ласковые глаза: «Вы о голодающих Крыма? Всё сделаю!» Я, вдохновенным шипом: «Вы очень добры!» — «Пишите, пишите, всё сделаю». Я, в упоении: «Вы ангельски добры!» — «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте — и будьте спокойны, в с ё б у д е т с д е л а н о!» Я, беря его обе руки, самозабвенно: «Вы царственно добры!» Ах, забыла! На мое первое «добры» он с любопытством, вернее, с любознательностью, спросил (осведомился): «А Вы всегда так говорите?» — и мой ответ: “Нет, только сегодня, — потому что Вы позвали!”»

Марине и Анастасии удалось организовать настоящую кампанию по сбору средств для крымчан, и вскоре деньги были отосланы...

Как ни ожесточена была Марина всем происходящим, прощание с родиной давалось ей непросто; она отчетливо осознавала, что расстается со *своим, родным и привычным*, — и едет в неведомое и враждебное чужое, где можно гостить — но нельзя жить.

Ее прощальные слова Москве, любимой в каждой церковке, каждом закоулочке-переулочке, так ею воспетой, — эти слова непрощающе жестки. В ноябрьском письме Волошину Марина писала о Москве: «Она чудовищна. — Жировой нарост, гнойник, на Арбате — 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие... На Тверской гастрономия «L'Estomac»². Клянусь! — Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон беспощадности. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы всё же не покупала окороков. Всё это слишком пахнет кровью. — Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна...».

Она уже готова к сиротству на чужбине. Ей недорого первородство в Белокаменной, ибо Москва, которую она так воспела, предала тех, кто за нее сражался, проливал за нее кровь,

¹ Присутствия кого-то (франц.).

² Желудок (франц.).

отдавал жизнь за ее свободу. И почти в канун отъезда написаны стихи, как бы завершающие «московскую тему» в ее ранней поэзии:

Первородство — на сиротство!
Не спокаюсь.
Велико твое дородство:
Отрекаюсь.

Тем как вдаль гляжу на ближних —
Отрекаюсь.
Тем как твой топчу булыжник —
Отрекаюсь.

—————
Как в семнадцатом-то,
Праведница в белом,
Усмеающись стояла
Под обстрелом.

Как в осьмнадцатом-то
— А? — следочком ржавым
Всё сынов своих искала
По заставам.

Вот за эту-то — штыками!
Не спокаюсь! —
За короткую за память —
Отрекаюсь!

Драгомилово, Рогожская,
Другие...
Широко ж твоя творилась
Литургия...

А рядочком-то
На площади на главной,
Рванью-клочьями
Утешенные, лавром...

Наметай, метель, опилки:
Снег свой чистый.
Поклонись, глава, могилкам
Бунтовщицким.

(Тоже праведники были, —
Не за гривну!)
Красной ране, бедной праведной
Их кривде...

—————
Старопрежнее, на свалку!
Нынче, здравствуй!
И на кровушке на свежей —
Пляс да яства.

Вот за тех за всех за братьий
— Не спокоюсь! —
Прости, Иверская Мати!
Отрекаюсь.

Так обозначила она конец любимой своей темы. Она так любила дарить свой колокольный город дорогим и близким, и даже не слишком близким. Но предательства не простила.

Стихи «Ремесла» неподготовленному читателю нелегки для восприятия. Кое-что здесь осталось на уровне поиска новых средств для выражения «новой сути». Но ничто у этого поэта не пропадало втуне. Стихи «Ремесла» вобрали в себя этап неостановимого движения. Цветаева продолжала и дальше — до последних дней своих — искать и обретать.

Она не прощала и отрекалась... И все-таки...

Если бы муж мог вернуться на родину, она бы, скорее всего, не уехала. При всей ее ненависти к Орде, Хану и к тому, что делалось со страной и людьми.

Глава 27

ОТЪЕЗД

День отъезда настал только в начале мая 1922 года.

Если бы она подводила итоги последних лет, она могла бы остаться довольной тем, что в эти страшные революционные годы успела сделать.

Шесть завершенных пьес, две поэмы, документальная проза (из нее получились впоследствии «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Мои службы», «Смерть Стаховича», «Чердачное»). И, наконец, лирика. Море прекрасной лирики!

11 мая 1922 года в Москве погода выдалась серая и неуютная. В пелене облаков, плотно накрывших город, не проступало ни пятнышка весенней синевы.

Последний путь через Москву, от Борисоглебского перулка до Виндавского вокзала они едут на извозчике; на каждую церковь Марина крестится и — дочери: «Перекрестись, Аля!» Провожает их до самого вагона только Чабров, друг семьи Скрябиных.

В половине шестого вечера от вокзала отойдет поезд.

Среди других своих пассажиров он увезет худенькую молодую женщину с усталым лицом и ранней проседью в коротко стриженных волосах. Рядом с ней, прощаясь с пасмурным городом, стоит у окна большеглазая девочка.

Поезд шел до Риги; Рига была уже «заграницей».

Тут мать и дочь сделали остановку.

Молодой предупредительный попутчик, оказавшийся сотрудником Наркоминдела, помог им отнести вещи в камеру хранения, а потом предложил свои услуги добровольного гида по городу. Услуги были приняты.

Вечером мать и дочь сели в другой поезд, на этот раз берлинский.

Проснувшись наутро, девочка не отходила от окна, дивясь непривычным пейзажам, ровно разграфленным полям и огородам, черепичным крышам домов, опрятным нарядам крестьян. Города выглядели тоже странно.

«Аккуратность! аккуратность — вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазу и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей...»

Так полвека спустя вспоминала свои впечатления тех дней Ариадна Эфрон. Но сохранились и драгоценные свидетельства ее тогдашнего дневника. Девятилетняя Аля описала в нем, как их поезд прибыл в Берлин в яркий солнечный день 15 мая, во второй половине дня; неторопливо проехал по трем вокзалам, остановился на четвертом. «Наконец ходим на Шарлоттенбурге. Берем носильщика зеленого цвета, он тащит наши вещи вниз по лестнице, и вот мы в Берлине. Черепичные крыши, свет, цветы, скверы. Вот и наш извозчик. Садимся, кладем вещи, прощаемся с нашим спутником. Мама что-то говорит извозчику, и тот едет. Я рассматриваю город. Дома высокие и очень широкие. Много лавок, газетных киосков, продавщицы цветов в шляпках, дамы, кафе, модные магазины. Народу много. Вот и Прагерплац. <...> Вынимаем вещи, как вдруг из подъезда выходит сам Эренбург.

— А-а, Марина Ивановна!

— Здравствуйте, Илья Григорьевич, вот и мы».

Так началась чужбина.

Можно ли было предположить в этот залитый солнцем майский день, что жизнь вдали от родины растянется на долгих семнадцать лет?..

Утром следующего дня в Прагу ушла телеграмма, известившая об их прибытии Сергея Яковлевича Эфрона.

Биографическая канва

1892, 26 сентября — в семье профессора московского университета Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) родилась дочь Марина.

1902, осень — отъезд вместе с младшей сестрой Анастасией и матерью в Италию (Нерви под Генуей).

1903, весна — **1904**, лето — сестры Цветаевы в пансионе сестер Лаказ в Лозанне (Швейцария).

1904, осень — **1905**, лето — сестры Цветаевы в пансионе сестер Бринк во Фрейбурге (Шварцвальд, Германия).

1905, осень — возвращение в Россию: Ялта.

1906, июнь — приезд семьи в Тарусу; июль — смерть матери.

1908, знакомство с Кобылянским (Эллисом).

1910, ноябрь — выход первой поэтической книги — «Вечерний альбом». Знакомство с М.А. Волошиным.

1911, май — встреча с С.Я. Эфроном в Коктебеле; декабрь — первое публичное выступление Цветаевой в «Обществе свободной эстетики» (Москва).

1912, 27 января — венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона; февраль — выход второй книги «Волшебный фонарь». 5 августа — рождение дочери Ариадны.

1913 — выход сборника Цветаевой «Из двух книг». 30 августа — смерть И.В. Цветаева.

1913, осень — **1914**, лето — семья живет в Феодосии.

1913–1915 — написаны «Юношеские стихи» (сборник не был издан).

1914 — переписка с В.В. Розановым.

1914, осень — переезд на московскую квартиру в Борисоглебском пер., дом 6. Знакомство с С.Я. Парнок.

1915—1916, зима — поездка в Петербург. Публикации стихотворений и перевода романа А. де Ноай «Новые упования» в журнале «Северные записки». Знакомство с М.А. Кузминым, дружба с О.Э. Мандельштамом.

1915, март—июль — С.Я. Эфрон служит братом милосердия в санитарном поезде

1916 — созданы стихи, включенные позднее в сборник «Версты» (М., Госиздат, 1922). Знакомство с Н.А. Плущер-Сарно.

1917, 13 апреля — рождение дочери Ирины; октябрь — участие Эфрона в боях с большевиками за Кремль; с декабря — Эфрон в Добровольческой армии.

1918, ноябрь — **1919**, апрель — служба в Народном комиссариате по делам национальностей. Сближение с московскими театральными студиями. Дружба с П. Антокольским, Ю. Завадским, С. Голлидэй, К. Бальмонтом. Написаны шесть пьес.

1920, февраль — смерть младшей дочери Ирины в кунцевском приюте; май — Цветаева присутствует на двух выступлениях Александра Блока в Москве.

1921 — дружба с князем С.М. Волконским; июль — известие от мужа из Константинополя.хлопоты о разрешении на выезд из России.

1922, 11 мая — отъезд из России. 7 июня — встреча с С. Я. Эфроном в Берлине.

Краткая библиография

Книги и тексты М. И. Цветаевой (1910–1922)

- Цветаева М. Вечерний альбом. М., 1910.
Цветаева М. Волшебный фонарь. М., 1912.
Цветаева М. Из двух книг. М., 1913.
Цветаева М. Юношеские стихи. (Неизд. сб. — стихотворения 1913–1915 гг.)
Цветаева М. Версты. Стихи. М., «Костры», 1921. 2-е изд. — 1922.
Цветаева М. Версты. Стихи. Вып. 1, М., 1922.
Цветаева М. Лебединый стан. (Неизд. сб. — стихотворения 1917–1922. Первое изд. — Мюнхен, 1957.)
Цветаева М. Стихи к Блоку. Берлин, 1921.
Цветаева М. Ремесло. Книга стихов. Берлин, 1923.
Цветаева М. Психея. Романтика. Берлин, 1923.
Цветаева М. Неизданные письма. Париж, 1972.
Цветаева М. Театр. М., 1988.
Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л., 1990.
Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994–1995.
Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997.
Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999.
Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М., 2001. Том 1: 1913–1919. Том 2: 1920–1941.

**Основная литература о М. И. Цветаевой,
относящаяся к этому периоду жизни**

- Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992.
Горчаков Г. О Марине Цветаевой глазами современника. Orange, 1993.
Миркина З.А. Огонь и пепел: Духовный путь Марины Цветаевой // Миркина З.А. Невидимый собор. М., СПб., 1999.
Полякова С.В. Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок // Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. [СПб.], 1997.
Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997.
Таубман Д. Марина Цветаева. Живя стихами... М., 2000.
Цветаева А. Воспоминания. Изд.3, доп. М., 1983.
Цветаева А. Собр. соч. Т. 1. М., 1996.
Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992.
Эфрон А. О Марине Цветаевой. М., 1989.
Эфрон С. Детство. М., 1912.

Сборники, альманахи, материалы конференций

- Marina Cvetaeva. Studien und Materialien. Wien, 1982 (Wiener slawistischer Almanach; Sond. 3).
Marina Tsvetaeva: Actes du 1er colloque international, Lausanne, 30.IV–3.VII 1982 — Марина Цветаева: Труды 1-го международного симпозиума, Лозанна, 30 июня — 3 июля 1982 / Под ред. Р.Кембалла в сотрудин. с Е.Г. Эткиндо и Л.М. Геллером. Берн, 1991.
Марина Цветаева. Симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения. Русская школа Норвичского университета. Нортфилд, Вермонт, 1992.
Марина Цветаева. Песнь жизни. Un chant la vie. Marina Tsvetaeva: Actes de colloque international de l'Université Paris IV, 19–25 octobre 1992. Paris, 1996.
Marina Tsvetaeva: One hundred years: Papers from the Tsvetaeva Centenary Symposium. Amherst, Mass., 1992 — Столетие Цветаевой: Материалы симпозиума. Беркли, 1994.
Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М., 1992.

Марина Цветаева. Статьи и тексты. Wien, 1992. (Wiener slawistischer Almanach; Sond.32).

Звезда. 1992. № 10. Марина Цветаева: К столетию со дня рождения.

Karlinsky S. Marina Tsvetaeva: The Woman, her World and her Poetry. Cambridge, 1985

Feinstein E. A Captive Lion: The Life of Marina Tsvetaeva. Hutchinson, 1987.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения Марины Цветаевой,
написанные до мая 1922 года

ЧАРОДЕЮ

Рот как кровь, а глаза зелены,
И улыбка измученно-злая...
О, не скроешь, теперь поняла я:
Ты возлюбленный бледной Луны.

Над тобою и днем не слабели
В дальнем детстве сказанья ночей,
Оттого ты с рожденья — ничей,
Оттого ты любил — с колыбели.

О, как многих любил ты, поэт:
Темнооких, светло-белокурых,
И надменных, и нежных, и хмурых,
В них вселяя свой собственный бред.

Но забвение, ах, на груди ли?
Есть ли чары в земных голосах?
Исчезая, как дым в небесах,
Уходили они, уходили.

ДИКАЯ ВОЛЯ

Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!

Чтобы пел надменный голос:
«Гибель здесь, а там тюрьма!»
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама!

Я несусь, — за мною пасти,
Я смеюсь, — в руках аркан...
Чтобы рвал меня на части
Ураган!

Чтобы все враги — герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!

ГИМНАЗИСТКА

Я сегодня всю ночь не усну
От волшебного майского гула!
Я тихонько чулки натянула
И скользнула к окну.

Я — мятежница с вихрем в крови,
Признаю только холод и страсть я.
Я читала Бурже: нету счастья
Вне любви!

«Он» отвержен с двенадцати лет,
Только Листа играет и Грига,
Он умен и начитан, как книга,
И поэт!

За один его пламенный взгляд
На колени готова упасть я!
Но родители нашего счастья
Не хотят...

В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Звонят-поют, забвению мешая,
В моей душе слова: «пятнадцать лет».
О, для чего я выросла большая?
Спасенья нет!

Еще вчера в зеленые березки
Я убегала, вольная, с утра.
Еще вчера шалила без прически,
Еще вчера!

Весенний звон с далеких колоколен
Мне говорил: «Побегай и приляг!»
И каждый крик шалунье был позволен,
И каждый шаг!

Что впереди? Какая неудача?
Во всем обман и, ах, на всем запрет!
— Так с милым детством я прощалась, плача,
В пятнадцать лет.

* * *

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую...
— Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни — и свою.

15 мая 1913

СЕРГЕЮ ЭФРОН-ДУРНОВО

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови

И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн —
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель, 19 июля 1913

* * *

Безумье — и благоразумье,
Позор — и честь,
Всё, что наводит на раздумье,
Всё слишком есть

Во мне, все каторжные страсти
Свились в одну!
Так в волосах моих — все масти
Ведут войну.

Я знаю весь любовный шепот,
— Ах, наизусть! —
Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть.

Но облик мой — невинно-розов,
— Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик,
— Ловимый вновь! —

Моих прабабушек-полячек
Сказалась кровь.

Лгу оттого, что по кладбищам
Трава растет,
Лгу оттого, что по кладбищам
Метель метет...

От скрипки — от автомобиля —
Шелков — огня...
От пытки, что не все любили
Одну меня!

От боли, что не я — невеста
У жениха...
От жеста и стиха — для жеста
И для стиха.

От нежного боа на шее...
И как могу
Не лгать, — раз голос мой нежнее,
Когда я лгу...

3 января 1915

* * *

Легкомыслие! — Милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мои вбрызнул смех,
Ты мазурку мне вбрызнул в жилы!

Научил не хранить кольца, —
С кем бы жизнь меня не венчала!
Начинать наугад с конца,
И кончать еще до начала.

Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
— Шоколадом лечить печаль
И смеяться в лицо проходим.

3 марта 1915

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ О МОСКВЕ»

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке — все сорок сороков,
И реющих над ними голубков;

И Спасские — с цветами — воротá,
Где шапка православного снята;

Часовню звездную — приют от зол —
Где вытертый от поцелуев — пол;

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянная Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916

* * *

Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе ткани вытканной,
Царевать тебе — под заборами,
Целовать тебе, внучка, — ворона!

Ровно облако побелела я:
Вынимайте рубашку белую,

Жеребка не гоните черного,
Не поите попа соборного,

Вы кладите меня под яблоней,
Без моления да без ладана.

Поясной поклон, благодарствие
За совет да за милость царскую,
За карманы твои порожние,
Да за песни твои острожные,
За позор пополам со смутую, —

За любовь за твою за лютую.

Как ударит соборный колокол,
Сволокут меня черти волоком.
Я за чаркой, с тобою распитой,
Говорила, скажу и Господу —
Что любила тебя, мальчоночка,
Пуще славы и пуще солнышка.

1 апреля 1916

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ К БЛОКУ»

У меня в Москве — купола горят,
У меня в Москве — колокола звонят,
И гробницы, в ряд, у меня стоят,
В них царицы спят, и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится — чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе — до зари.

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю —
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари.

Но моя река — да с твоей рекой,
Но моя рука — да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря — зари.

7 мая 1916

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ К АХМАТОВОЙ»

Златоустой Анне — всяя Руси
Искупительному глаголу, —
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжелый.

Расскажи, сторающий небосклон,
Про глаза, что черны от боли,
И про тихий земной поклон
Посреди золотого поля.

Ты, зеленоводный лесной ручей,
Расскажи, как сегодня ночью
Я взглянула в тебя — и чей
Лик узрела в тебе воочью.

Ты, в грозовой выси
Обретенный вновь!
Ты! Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне — всяя Руси!

27 июня 1916

* * *

Руки даны мне — протягивать каждому обе —
Не удержать ни одной, губы — давать имена,
Очи — не видеть, высокие брови над ними —
Нежно дивиться любви и — нежней — нелюбви.

А этот колокол там, что кремлевских тяжеле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, —
Это — кто знает? — не знаю, — быть может —
должно быть —
Мне загоститься не дать на российской земле!

2 июля 1916

* * *

И другу на руку легло
Крылатки тонкое крыло.

Что я поистине крылата,
Ты понял, спутник по беде!
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой!

И, благодарный за тепло,
Целуешь тонкое крыло.

А ветер гасит огоньки
И треплет пестрые палатки,
А ветер от твоей руки
Отводит крылышко крылатки...

И дышит: душу не губи!
Крылатых женщин не люби!

21 сентября 1916

ЦАРЮ — НА ПАСХУ

Настежь, настежь
Царские врата!
Сгасла, схлынула чернота.
Чистым жаром
Горит алтарь.
— Христос Воскресе,
Вчерашний царь!

Пал без славы
Орел двуглавый.
— Царь! — Вы были неправы.

Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз.

Ваши судьи —
Гроза и вал!
Царь! Не люди —
Вас Бог взыскал.

Но нынче Пасха
По всей стране.
Спокойно спите
В своем Селе,
Не видите красных
Знамен во сне.

Царь! — Потомки
И предки — сон.
Есть — котомка,
Коль отнят — трон.

*Москва, 2 апреля 1917,
первый день Пасхи*

* * *

За Отрока — за Голубя — за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!

Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь углицкий — Димитрий.

Ласковая ты, Россия, мать!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?

Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!

*4 апреля 1917,
третий день Пасхи*

* * *

Из Польши своей спесивой
Принес ты мне речи льстивые,
Да шапочку соболиную,
Да руку с перстами длинными,
Да нежности, да поклоны,
Да княжеский герб с короною.

— А я тебе принесла
Серебряных два крыла.

20 августа 1917

* * *

Молодую рошу шумную —
Дровосек перерубил.
То, что Господом задумано —
Человек перерешил.

И уж роща не колышется —
Только пни, покрыты ржой,
В голосах родных мне слышится
Темный голос твой чужой.

Все мерещатся мне дивные
Темных глаз твоих круги.
— Мы с тобою — неразрывные,
Неразрывные враги.

20 августа 1917

МОСКВЕ

1

Когда рыжеволосый Самозванец
Тебя схватил — ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? — Румянец,
Красавица? — Разумница, — где речь?

Как Петр-Царь, презрев закон сыновний,
Позарился на голову твою —
Боярыней Морозовой на дровнях
Ты отвечала Русскому Царю.

Не позабыли огненного поила
Буонапарта хладные уста.
Не в первый раз в твоих соборах — стойла.
Всё вынесут кремлевские бока!

9 декабря 1917

2

Гришка-Вор тебя не ополячил,
Петр-Царь тебя не онемечил.
— Что же делаешь, голубка? — Плачу.
— Где же спесь твоя, Москва? — Далече.

— Голубочки где твои? — Нет корму.
— Кто унес его? — Да ворон черный.
— Где кресты твои святые? — Сбиты.
— Где сыны твои, Москва? — Убиты.

10 декабря 1917

3

Жидкий звон, постный звон.
На все стороны — поклон.

Крик младенца, рев коровы.
Слово дерзкое царёво.

Плеток свист и снег в крови.
Слово темное Любви.

Голубиный рокот тихий.
Черные глаза Стрельчихи.

10 декабря 1917

* * *

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

* * *

Трудно и чудно — верность до гроба!
Царская роскошь — в век площадей!
Стойкие души, стойкие ребра, —
Где вы, о люди минувших дней?!

Рыжим татаринoм рыщет вольность,
С прахом равняя алтарь и трон.
Над пепелищами — рев застольный
Беглых солдат и неверных жен.

29 марта 1918

* * *

...О, самозванцев жалкие усилья!
Как сон, как снег, как смерть — святыни — всем.
Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья!
И потому — запрета нет на Кремль!

*Страстной понедельник
1918*

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

Андрей Шенье взoшел на эшафот,
А я живу — и это страшный грех.
Есть времена — железные — для всех.
И не певец, кто в порохе — поет.

И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце — смертный грех.
Не человек — кто в наши дни — живет.

17 апреля 1918

* * *

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость — и Господень суд,
Благой закон — и каменный закон.

И пыльный пурпур свой, где столько дыр...
И пыльный посох свой, где все лучи!
Еще, Господь, благословляю — мир
В чужом дому — и хлеб в чужой печи.

8 мая 1918, канун Николина дня

* * *

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое — семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней — утешаюсь.
Если встретится — скажи.

12 мая 1918

* * *

Ночи без любимого — и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому —
Кто от века не был — и не будет,
Кто не может быть — и должен быть...
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,

И большие каменные горы
На груди того, кто должен — вниз...

Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется — Жизнь.

(Между 30 июня и 6 июля 1918)

ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ

Дурная мать! — Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет Лукавый,
То первенца забуду за пером...

Завидуя императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят — годы,
Не видя, что уходит — молоко!

И кто из вас, ханжи, во время оно
Не пировал, забыв о платеже!
Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего, когда-то, — Беранже!

Но одному — сквозь бури и забавы —
Я, несмотря на ветренность, — верна.
Не ошибись, моя дурная слава:
— Дурная мать, но верная жена!

6 июля 1918

* * *

Как правая и левая рука —
Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!

27 июля 1918

* * *

Мой день беспутен и нелеп:
У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность,

В иголку продеваю — луч,
Грабителю вручаю — ключ,
Белилами румяню бледность.

Мне нищий хлеба не дает,
Богатый денег не берет,
Луч не вдевается в иголку,

Грабитель входит без ключа,
А дура плачет в три ручья —
Над днем без славы и без толку.

29 июля 1918

* * *

Клонится, клонится лоб тяжелый,
Колосом клонится, ждет жнеца.
Друг! Равнодушие — дурная школа!
Ожесточает оно сердца.

Жнец — милосерден: сожнет и свяжет,
Поле опять прорастет травой...
А равнодушного — Бог накажет!
Страшно ступать по душе живой.

Друг! Неизжитая нежность — душит.
Хоть на алтын полюби — приму!
Друг равнодушный! — Так страшно слушать
Черную полночь в пустом дому!

Июль 1918

* * *

— Где лебеди? — А лебеди ушли.
— А вороны? — А вороны — остались.
— Куда ушли? — Куда и журавли.
— Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались.

— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
— Куда возьмет? — На лебединый Дон.
Там у меня — ты знаешь? — белый лебедь...

27 июля 1918

* * *

Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы — и что ей хаты!
Что Чингиз-Хан ей и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!

5 августа 1918

* * *

Царь и Бог! Простите малым —
Слабым — глупым — грешным — шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщенным и обманутым, —

Царь и Бог! Жестокой казнию
Не казните Стеньку Разина!

Царь! Господь тебе оплатит!
С нас сиротских воплей — хватит!
Хватит, хватит с нас покойников!
Царский Сын, — прости Разбойнику!

В отчий дом — дороги разные.
Пошадите Стеньку Разина!

Разин! Разин! Сказ твой сказан!
Красный зверь смирен и связан;
Зубья страшные поломаны,
Но за жизнь его за темную,

Да за удаль несуразную —
Развяжите Стеньку Разина!

Родина! Исток и устье!
Радость! Снова пахнет Русью!
Просияйте, очи тусклые!
Веселися, сердце русское!

Царь и Бог! Для ради празднику —
Отпустите Стеньку Разина!

Москва, 1-я годовщина Октября

* * *

Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце — как маятник — как календарь.
Быть светской пустыннолицей стройного роста,
Премудрой — как всякая Божия тварь.

Знать: Дух — мой сподвижник, и Дух — мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, —
Как Бог повелел и друзья не велят.

9 ноября 1918

* * *

Я Вас люблю всю жизнь и каждый день,
Вы надо мною, как большая тень,
Как древний дым полярных деревень.

Я Вас люблю всю жизнь и каждый час.
Но мне не надо Ваших губ и глаз.
Всё началось — и кончилось — без Вас.

Я что-то помню: звонкая дуга,
Огромный ворот, чистые снега,
Унизанные звездами рога...

И от рогов — в полнебосвода — тень...
И древний дым полярных деревень...
— Я поняла: Вы северный олень.

7 декабря 1918

* * *

Сам Черт и зъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась —
Там красная кровь лилась.

Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Я с бандой комедиантов
Браталась в чумной Москве.

Хребет вероломства — гибок.
О, сколько их шло на зов
..... моих улыбок
..... моих стихов.

Чтоб Совесть не жгла под шалью —
Сам Черт мне вставал помочь.
Ни утра, ни дня — сплошная
Шальная, чумная ночь.

И только порой, в тумане,
Клонясь, как речной тростник,
Над женщиной плакал — Ангел
О том, что забыла — Лик.

Март 1919

* * *

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите. Гора рукописных бумаг...
Так. — Руку! — Держите направо, —
Здесь лужа от крыши дырявой;

Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина — может без кружев!

Ну-с, перечень наших чердачных чудес:
Здесь нас посещают и ангел, и бес,
И тот, кто обоих превыше.
Недолго ведь с неба — на крышу!

Вам дети мои — два чердачных царька,
С веселою музой моею, — пока
Вам призрачный ужин согрею, —
Покажут мою эмпирею.

— А что с Вами будет, как выйдут дрова?
— Дрова? Но на то у поэта — слова
Всегда — огневые — в запасе!
Нам нынешний год не опасен...

От века поэтовы корки черствы,
И дела нам нету до красной Москвы!
Глядите: от края — до края —
Вот наша Москва — голубая!

А если уж слишком поэта доймет
Московский чумной девятнадцатый год, —
Что ж, — мы проживем и без хлеба!
Недолго ведь с крыши — на небо.

Октябрь 1919

* * *

Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить.
А так: руки скрестить — тихонько плыть
Глазами по пустому небосклону.
Ни за свободу я — ни против оной —
О, Господи! — не шевельну перстом.
Я не дышать хочу — руки крестом!

Декабрь 1919

* * *

У первой бабки — четыре сына,
Четыре сына — одна лучина,
Кожух овчинный, мешок пеньки, —
Четыре сына — да две руки!
Как ни навалишь им чашку — чисто!
Чай, не барчата! — Семинаристы!
А у другой — по иному трахту! —
У той тоскует в ногах вся шляхта.
И вот — смеется у камелька:
«Сто богомольцев — одна рука!»
И зацелованными руками
Чудит над клавишами, шелками...
Обеим бабкам я вышла — внучка:
Чернорабочий — и белоручка!

Январь 1920

* * *

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Первая половина апреля 1920

* * *

Не так уж подло и не так уж просто,
Как хочется тебе, чтоб крепче спать.
Теперь иди. С высокого помоста
Кивну тебе опять.

И, удивленно подымая брови,
Увидишь ты, что зря меня чернил:
Что я писала — чернотою крови,
Не пурпуром чернил.

1920

* * *

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите всё мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

19 мая 1920

* * *

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — брэнная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты...
— В купели морской крещена — и в полете
Своем — непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволие.
Меня — видишь кудри беспутные эти? —
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!

23 мая 1920

EX—CI—DEVANT¹

(Отзвук Стаховича)

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!
Рук не исправишь — топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ:
Порода! — узнаю Тебя.

Как ни коптись над ржавой сковородкой —
Всё вокруг тебя твоих Версалея — тишь.
Нет, самую косою косовороткой
Ты шеи не укоротишь.

Над снежным валом иль над трубной сажей
Дугой согбен, всё ж — гордая спина!
Не окриком, — всё той же барской блажью
Тебе работа задана.

Выменивай по нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос —
Всё равенство нарушит — нос горбатый:
Ты — горбонос, а он — курнос.

Но если вдруг, утомлено получкой,
Тебе дитя цветок протянет — в дань,
Ты так же поцелуешь эту ручку,
Как некогда — Царицы длань.

Июль 1920

¹ Выбывший из «бывших» (франц.).

* * *

И если руку я даю —
То погадать — не целовать.

Скажи мне, встречный человек,
По синим по дорогам рек

К какому морю я приду?
В каком стакане потону?

— Чтоб навзничь бросил наповал —
Такой еще не вырос — вал.

Стакан твой каждый — будет пуст.
Сама ты — океан для уст.

Ты за стаканом бей стакан,
Топи нас, море-окиян!

А если руку я беру —
То не гадать — поцеловать.

Сама запуталась, паук;
В изделия своих же рук.

— Сама не разгибаю лба, —
Какая я тебе судьба?

Июль 1920

* * *

Есть в стане моем — офицерская прямоть,
Есть в ребрах моих — офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.

Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ремённый кушак.

А зóрю слышу — Отец ты мой родный! —
Хоть райские — штурмом — врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня — уцелело:
Я слово беру — на прицел!

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежешет — корми-не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.

Сентябрь 1920

* * *

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь.
О милая! Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прошусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.

Нет, выпростаю руки, — стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен,
Смерть, выбью! — Верст на тысячу в округе
Растоплены снега — и лес спален.

И если всё ж — плеча, крыла, колена
Сжав — на погост дала себя увесть, —
То лишь затем, чтобы смеясь над тленом
Стихом восстать — иль розаном расцвести!

Ноябрь 1920

* * *

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла — нипочем!
Алых губ своих отказом не тружу, —
Прокаженный подойди — не откажу!

Пока молода —
Всё как с гуся вода!
Никогда никому — Нет! —
Всегда — да!

Што за дело мне, што рваный ты, босой:
Без разбору я кошу, как смерть косой.
Говорят мне, что цыган-ты-конокрад,
Про тебя еще другое говорят...

А мне что за беда —
Что с копытом нога!
Никогда никому — Нет! —
Всегда — да!..

Блещут, плещут, хлещут раны — кумачом.
Целоваться я не стану — с палачом!

Москва, ноябрь 1920

* * *

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядком лежат —
Не развестъ межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белым был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.

— Кто ты? — белый? — не пойму! — привстань!
Аль у красных пропадал? — Ря-зань.

И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!

Без воли — без гнева —
Протяжно — упрямо —
До самого неба:
— Мама!

Декабрь 1920

* * *

С Новым Годом, Лебединый стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!

С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах
Родина с ладонью!

Приклонись к земле — и вся земля
Песнею заздравной.
Это, Игорь, — Русь через моря
Плачет Ярославной.

Томным стоном утомляет грусть:
— Брат мой! — Князь мой! — Сын мой!
— С Новым Годом, молодая Русь
За морем за синим!

Москва, 31 русск<ого> декабря 1920

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Вопль стародавний,
Плач Ярославны —
Слышите?
С башенной выщечки
Неперерывный
Вопль — неизбывный:

— Игорь мой! Князь
Игорь мой! Князь
Игорь!

Ворон, не сглазь
Глаз моих — пусть
Плачут!

Солнце, мечи
Стрелы в них — пусть
Слепнут!

Кончена Русь!
Игорь мой! Русь!
Игорь!

Лжет летописец, что Игорь опять в дом свой
Солнцем взошел — обманул нас Баян льстивый.
Знаешь конец? Там, где Дон и Донец — плещут,
Пал меж знамен Игорь на сон — вечный.

Белое тело его — ворон клевал.
Белое дело его — ветер сказал.

Подымайся, ветер, по оврагам,
Подымайся, ветер, по равнинам,
Торопись, ветрило-вихрь-бродяга,
Над тем Доном, белым Доном лебединым!

Долетай до городской до стенки,
С коей по миру несется плач надгробный.
Не гляди, что подгибаются коленки,
Что тускнеет ее лик солнцеподобный...

— Ветер, ветер!
— Княгиня, весть!
Князь твой мертвый лежит —
За честь!

Вопль стародавний,
Плач Ярославны —
Слышите?
Вопль ее — ярый,
Плач ее, плач —
Плавный:

— Кто мне заздравную чару
Из рук — выбил?
Старой не быть мне,
Под камешком гнить,
Игорь!

Дерном-глиной заткните рот
Алый мой — нонче ж.
Кончен
Белый поход.

23 декабря 1920

ИЗ ЦИКЛА «МАРИНА»

Быть голубкой его орлиной!
Больше матери быть, — Мариной!
Вестовым — часовым — гонцом —

Знаменосцем — льстецом придворным!
Серафимом и псом дозорным
Охранять беспокойный сон.

Сальных карт захватив колоду,
Ногу в стремя! — сквозь огонь и воду!
Где верхом — где ползком — где вплавь!

Тростником — ивняком — болотом,
А где конь не берет, — там летом,
Все ветра полонивши в плащ!

Черным вихрем летя беззвучным,
Не подругою быть — сподручным!
Не единою быть — вторым!

Близнецом — двойником — крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым.

Гул кремлевских гостей незваных,
Если имя твое — Басманов,
Отстанись! — Уступи любви!

Распахнула платок нагрудный.
— Руки настезь! — Чтоб в день свой судный
Не в басмановской встал крови.

28 апреля 1921

КН. С.М. ВОЛКОНСКОМУ

Стальная выправка хребта
И вороненой стали волос.
И чудодейственный — слегка —
Чуть прикасающийся голос.

Какое-то скольжение вдоль —
Ввысь — без малейшего нажима...
О дух неуловимый — столь
Язвящий — сколь неуязвимый!

Земли не чующий, ничей,
О безучастие, с которым
— Сиятельный — лишь тень вещей
Следишь высокомерным взором.

В миг отрывающийся — весь!
В лад дышащий — с одной вселенной!
Всегда отсутствующий *здесь*,
Чтоб *там* присутствовать бессменно.

Май 1921

ИЗ ЦИКЛА «РАЗЛУКА»

Всё круче, всё круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, — разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже —
Неотъемлем.

Стремит столбовая
В серебряных сбруях.
Я рук не ломаю!
Я только тяну их
— Без звука! —

Как дерево-машет-рябина
В разлуку,
Во след журавлиному клину.

Стремит журавлиный,
Стремит безоглядно.
Я спеси не сбавлю!
Я в смерти — нарядной
Пребуду — твоей быстроте златоперой
Последней опорой
В потерях простора!

Июнь 1921

* * *

Скоро уж из ласточек — в колдуньи!
Молодость! Простимся накануне...
Постоим с тобою на ветру
Смуглая моя! Утешь сестру!

Полыхни малиновою юбкой,
Молодость моя! Моя голубка
Смуглая! Раззор моей души!
Молодость моя! Утешь, спляши!

Полосни лазоревою шалью,
Шалая моя! Пошалевали
Досыта с тобой! — Спляши, ошпарь!
Золотце мое-прошай-янтарь!

Неспроста руки твоей касаюсь,
Как с любовником с тобой прощаюсь.
Вырванная из грудных глубин —
Молодость моя! — Иди к другим!

7 ноября 1921

* * *

А и простор у нас татарским стрелам!
А и трава у нас густа — бурьян!
Не курским соловьем осоловелым,
Что похотью своею пьян,

Свищу над реченькою румянистой,
Той реченькою-не старей!
Покамест в неширокие полсвиста
Свищу — пытаться богатырей.

Ох и рубцы ж у нас пошли калеки!
— Алешеньки-то кровь, Ильи! —
Ох и красны ж у нас дымятся реки,
Малиновые полыньи.

В осоловелой оторопи банной —
Хрип княжеский да волчья сыть.
Всей соловьиной глоткой разливанной
Той оторопи не покрыть.

Вот и молчок-то мой таков претихий,
Что вывелась моя семья.
Меж соловьев слезистых — соколиха,
А род веду — от Соловья.

27 января 1922

* * *

Не здесь, где связано,
А там, где велено,
Не здесь, где Лазари
Бредут с постелею,

Горбами выючными
О шебень дней.
Здесь нету рученьки
Тебе — моей.

Не здесь, где скривлено,
А там, где вправлено,
Не здесь, где с крыльями
Решают — саблями,

Где плоть горластая
На нас: добей!
Здесь нету дарственной
Тебе — моей.

Не здесь, где спрошено,
Там, где отвечено.
Не здесь, где крошева
Промеж — и месива

Смерть — червоточиной,
И ревность-змей.
Здесь нету вотчины
Тебе — моей.

И не оглянется
Жизнь крутобровая!
Здесь нет свиданьица!
Здесь только провода,

Здесь слишком спутаны
Концы ремней...
Здесь нету утрени
Тебе — моей.

Не двор с очистками —
Райскими кущами!
Не здесь, где взыскано,
Там, где отпущено,

Где вся расплёскана
Измена дней.
Где даже слов-то нет:
— Тебе — моей...

12 февраля 1922

Оглавление

Глава 1. Мать	5
Глава 2. Понтик	28
Глава 3. Бонапартизм	41
Глава 4. Чародей	46
Глава 5. «Взамен любовного признания...»	59
Глава 6. Волошин	64
Глава 7. Коктебель	71
Глава 8. Сивцев Вражек	81
Глава 9. Открытие Музея. Семейное	91
Глава 10. Феодосия	102
Глава 11. Ася	110
Глава 12. Театральный «обормотник»	121
Глава 13. Подруга	130
Глава 14. Поездка в Петроград. Мандельштам	137
Глава 15. Начало конца	150
Глава 16. Никодим	161
Глава 17. Первая зима	175
Глава 18. Прапорщик Сергей Эфрон	181
Глава 19. Стенька Разин	191
Глава 20. Последний форт	196
Глава 21. Сонечка	207
Глава 22. Чердачное	213
Глава 23. Живая жизнь	225
Глава 24. Плач Ярославны	235
Глава 25. Князь Волконский	247
Глава 26. Первородство — на сиротство	257
Глава 27. Отъезд	267
Биографическая канва	269
Краткая библиография	271

Приложение

Стихотворения Марины Цветаевой, написанные до мая 1922 года

Чародею	274
Дикая воля	274
Гимназистка	275
В пятнадцать лет	275
«Солнцем жилки налиты — не кровью...»	276
Сергею Эфрон-Дурново	276
«Безумье — и благоразумье...»	277
«Легкомыслие! — Милый грех...»	278
Из цикла «Стихи о Москве»	279
«Говорила мне бабка лютая...»	279
Из цикла «Стихи к Блоку»	280
Из цикла «Стихи к Ахматовой»	281

«Руки даны мне — протягивать каждому обе...»	282
«И другу на руку легло...»	283
Царю — на Пасху	283
«За Отрока — за Голубя — за Сына...»	284
«Из Польши своей спесивой...»	284
«Молодую рошу шумную...»	284
Москве	285
1. «Когда рыжеволосый Самозванец...»	285
2. «Гришка-Вор тебя не ополячил...»	285
3. «Жидкий звон, постный звон...»	286
«На кортике своем: Марина...»	286
«Трудно и чудно — верность до гроба!...»	287
«...О, самозванцев жалкие усилия!...»	287
Андрей Шенье	287
«Благословляю ежедневный труд...»	288
«Семь мечей пронзали сердце...»	288
«Ночи без любимого — и ночи...»	288
Памяти Беранже	289
«Как правая и левая рука...»	289
«Мой день беспутен и нелеп...»	290
«Клонится, клонится лоб тяжелый...»	290
«— Где лебеди? — А лебеди ушли...»	291
«Если душа родилась крылатой...»	291
«Царь и Бог! Простите малым...»	291
«Я счастлива жить образцово и просто...»	292
«Я Вас люблю всю жизнь и каждый день...»	291
«Сам Черт изъявил мне милость!...»	293
«Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!...»	294
«Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить...»	295
«У первой бабки — четыре сына...»	295
«Две руки, легко опущенные...»	296
«Не так уж подло и не так уж просто...»	296
«Пригвождена к позорному столбу...»	297
«Кто создан из камня, кто создан из глины...»	297
Ех — <i>ci-devant</i> (<i>Отзвук Стаховича</i>)	298
«И если руку я даю...»	299
«Есть в стане моем — офицерская прямоть...»	299
«Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе...»	300
«Целовалась с нищим, с вором, с горбачом...»	301
«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!...»	301
«С Новым Годом, Лебединый стан!...»	302
Плач Ярославны	303
Из цикла «Марина»	305
Кн. С.М. Волконскому	306
Из цикла «Разлука»	306
«Скоро уж из ласточек — в колдуньи!...»	307
«А и простор у нас татарским стрелам!...»	308
«Не здесь, где связано...»	308

Кудрова И.

К 88 Жизнь Марины Цветаевой. Документальное повествование. — СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. — 312 с. (Серия: Русские поэты. Жизнь и судьба.)

ISBN 5-94214-003-0

ISBN 5-94214-014-6

Марина Цветаева (1892–1941) оставила неповторимый след в русской литературе XX века. Все ее творчество — лирика, поэмы, автобиографическая проза, критика, — как и сама ее великая жизнь, — отмечены неподдельным трагизмом. Будучи поэтом-новатором, опередившим время, М. Цветаева не выдержала безжалостной схватки со своей кровавой и злой эпохой и стала ее жертвой. И. Кудровой удалось, используя множество новых сведений, почерпнутых из архива поэта, психологически и исторически точно воспроизвести этот поединок и нарисовать достойный портрет М. Цветаевой. Книга охватывает первые тридцать лет жизни М. Цветаевой — до отъезда в эмиграцию в 1922 году.

В книге широко использованы ранее не публиковавшиеся материалы.

ББК 84. P7

Ирма Викторовна Кудрова

ЖИЗНЬ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Корректор *Ф. С. Флейтман*

Технический редактор *Е. Ф. Шараева*

Издательская лицензия ЛР № 02412 от 20 июля 2000 г.

Сдано в набор 14.05.2001. Подписано к печати 30.10.2001. Формат 60×88¹/₁₆.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Ньютон.
Усл. печ. л. 19,5. Уч. изд. л. 14,3. Тираж 3000 экз. Заказ № 53.

Издательство журнала «Звезда».
191028. Санкт-Петербург, Моховая, д. 20.

Отдел реализации (812) 273-76-92

Отпечатано с оригинал-макета
в издательско-полиграфическом комплексе «Бионт»
199026, Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., 86.
тел. (812) 322-68-43

Серия «Русские поэты XX века. Жизнь и судьба» будет продолжена биографиями Н. Гумилева, А. Ахматовой, Г. Иванова, А. Блока, Б. Пастернака, С. Есенина, И. Бродского, и многих других русских поэтов XX века – вплоть до 1960-х годов.

Издательство планирует серии:
«Русские прозаики XX века. Жизнь и судьба» и
«Русские мыслители XX века. Жизнь и судьба»

издательство журнала
«ЗВЕЗДА»